

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	7
Глава I	
Этнография и политика исследовательского проекта.....	13
Моральная дилемма	13
Поле битвы как этнографическое поле	19
Метод делегированного разговора	26
“Не те чеченцы”	30
Глава II	
Объяснительные модели и теория исследования.....	33
Глобальные теории и метапроекты	35
Чечня и концепция самоопределения	40
Цивилизационно-этнографический романтизм	44
Частные объяснительные модели	46
Демодернизация как антропологическое явление	51
Глава III	
Политика репрессий и политика престижа.....	60
О пользе и вреде истории и этнографии	60
XX век и чеченские версии истории	69
Политика коренизации	72
Последствия коллективизации и индустриализации	76
Повседневность ссылки	80
“Так это было”: поиск ответа	89
Глава IV	
Противоречивая модернизация	96
Возвращение на родину	97
Политический статус и чеченские “верхи”	103
Раскол местного сообщества	113
Социально-культурная ситуация накануне конфликта	122
Новое поколение и его культура	126
О языке и истории	130
Глава V	
Чеченцы: внутренние образы	134
Подходы к пониманию идентичности	134
Разновременные низовые версии	138
Элитные версии	141
Комплекс народа-изгоя	146
Какофония чеченской попсы	149

Внутричеченские диспозиции	160
Новая архайка тейпов и “новые чеченцы”	166
Глава VI	
Чеченцы: внешние версии	171
Кто они – чеченцы? Сомнения по поводу общих истин	171
Российские восприятия: личный опыт	174
Массмедийные образы и динамика античеченских фобий	178
Академические версии	189
Бремя внешних предписаний	190
Ближний внешний круг	191
Симпатии и соперничество	196
Дальняя внешняя версия	198
Глава VII	
Амбиции лидеров и надменность силы	204
“Национальная революция” Джохара Дудаева	204
Три года чеченской свободы	217
Ответ центра	222
Фактор Хасбулатова	228
Чечня и российское общество	231
Дiasпора и международное сообщество	237
Оценка чеченского кризиса	240
Глава VIII	
Джохар: миф о герое и дьяволе	246
Постсоветские харизматические лидеры	246
Журналистские версии лидера	249
Личная версия лидера	252
Лидер как народная версия	256
Война как игра лидера	262
Послевоенная апологетика	269
Глава IX	
Боевики: доблесть и мародерство	274
Идеологический образ и литературная версия	274
Как становились боевиками	276
Начало мобилизации	278
Страх и отвага	280
Калашниковская культура	283
Нравилось воевать	285
“Отщепенцы, бездельники, дармоеды”	286
Мародерство	289
“Не на что жить, когда стало так много воевавших”	292
Глава X	
Семья и конфликт	296
О чеченской семье и о тейпах	296
Социология чеченской семьи	301
Супружеские отношения и статус женщины	305
Заботы и жертвы родителей	308

Дети войны	312
Потери близких	318
“Чистый ислам” как новый порядок	322
Глава XI	
Религия и конфликт	327
Уход ислама	330
“Новые мусульмане”	333
Приход ваххабизма	339
После войны	342
Новый раскол	344
Глава XII	
Война как тотальное насилие	351
Теория и этнография насилия	351
Образ врага как введение в войну	358
Неверие и шок начала войны	361
Жестокость федералов и чеченцев	364
Преодоление цикла насилия	375
Месть как аргумент против мира	377
Война как заговор	380
Война как болото и как преисподня	383
Война как всеобщее безумие	384
Глава XIII	
Этнография заложничества	390
Как появилась эта глава?	390
Сложности анализа: политический аспект	394
Мифологический и психологический аспекты анализа	400
Мотивы похищения	405
Кого и как похищают	408
Евреи как жертвы	412
Организаторы торговли и обращение с заложниками	414
Домашние тюрьмы	418
Похищение людей и чеченская политика	421
Глава XIV	
Во имя “великого народа” к новому насилию	424
Самообман “великой победы”	425
Постконфликтная экономика	436
Социальная жизнь	440
Межгрупповые противоречия	444
Шариат для Чечни?	447
Глава XV	
Чеченский дискурс как идеология крайностей	451
Чеченская пресса	453
Судьба чеченского общественнознания	455
Чеченская антропология	459
Враги Чечни	462
Миссия освобождения Кавказа	466
Ислам и нация	469
Чеченский антисемитизм и теории заговора	476

Глава XVI	
Чечня как сцена и как роль	483
Истина и мораль в конфликте	483
Тексты и образы возлюбивших войну	492
“Либеральный интервенционизм”	495
Конструирование чеченцев из этнографического мусора	501
Послесловие	514
Приложение	522
Библиография	537
Указатель имен	546

ВВЕДЕНИЕ

Если говорить по отдельности об этой войне, о разных там операциях, вроде бы все понятно. А вот все собрать вместе, связать, чтобы всякое лыко в строку – это уж, видно, ваше дело, ученых. Одно только хочу сказать, не хотел я воевать, да вот и после войны героем себя не чувствую, хоть и наградами осыпан. Так что беспутное это дело – война.

Таус А.

Сегодня Россия вступила в клуб примерно 30–40 государств с внутренними вооруженными конфликтами и с не контролируемыми центральным правительством территориями. Выйти из членов этого клуба будет очень и очень трудно.

Из интервью автора книги корреспонденту “Радио России”, 12 декабря 1994 г.

Эта книга о социально-культурной динамике общества, ввергнутого в вооруженный конфликт. В ней анализируется ситуация в Чеченской республике в период так называемого чеченского кризиса или чеченской войны. По своей изначальной форме и политико-правовой сути конфликт в Чечне является вооруженным мятежом против федеральной власти Российской Федерации со стороны одного из этнотерриториальных автономных образований, провозгласившего в 1991 г. в одностороннем порядке выход из состава России и создание независимого государства. Подобные вооруженные конфликты в форме “войн за самоопределение” возникли в конце 1980-х – начале 1990-х годов в ряде регионов бывшего СССР (Нагорный Карабах в Азербайджане, Южная Осетия и Абхазия в Грузии, Приднестровье в Молдове). Почти все они закончились своего рода военной победой сепаратистов, но ни один из конфликтов не достиг цели создания отдельного государства и до сих пор не нашел политического решения.

Попытка федеральных властей покончить с сепаратистским режимом в Чечне вооруженным путем вылилась в затяжную и разрушительную военную кампанию 1994–1996 гг., завершившись выводом войск из Чечни и подписанием соглашений о мире в августе 1996 г. и в мае 1997 г. По официальным данным, в первую чечен-

скую кампанию только федеральные вооруженные силы и милиция потеряли убитыми около 4 тыс. человек. Вооруженный конфликт 1994–1996 гг. в Чечне привел к огромным человеческим и материальным потерям: около 35 тыс. человек погибло, более трети населения этой территории (почти 450 тыс. человек, включая выехавших перед войной) оказались вынужденными переселенцами и беженцами, были сильно разрушены г. Грозный и многие другие поселения. Война стала трагедией для народа Чечни и самым большим кризисом в истории новой России.

Конфликт между российскими федеральными властями и сторонниками вооруженной сецессии в Чечне не был разрешен, а последствия войны не ликвидированы. В 1997–1999 гг. внутри Чечни существовал социальный хаос и режим соперничающих вооруженных групп. Последние пытались обрести легитимность через обращение к радикальному исламу, а материальные средства найти через торговлю людьми и внешние заказы на террористическую деятельность. Крах основ общественного порядка в самопровозглашенном и непризнанном образовании, дестабилизация на сопредельных территориях Северного Кавказа, кризисное состояние российской государственности в период трансформаций, внешние манипуляции, включая западные симпатии к чеченскому сепаратизму и его прямую поддержку со стороны исламского радикализма в конечном итоге привели к новому циклу масштабного насилия.

С целью расширить район вооруженного сепаратизма под лозунгом распространения истинного ислама и войны против неверных (*джихада*) в августе 1999 г. с территории Чечни были осуществлены вооруженные вторжения в западном Дагестане и террористические акты (взрывы жилых домов) в Махачкале и Москве. В ответ последовали массивные военные действия и разгром радикальных исламистов на территории Дагестана федеральными вооруженными силами, дагестанской милицией и вооруженным ополчением осенью 2000 г. Из-за вынужденного перемещения населения в зоне боевых действий серьезный ущерб был нанесен уникальной этнокультурной мозаике западной части Дагестана. Но в целом Дагестан вышел из серьезного кризиса более консолидированным на платформе общероссийской лояльности и смог достаточно быстро устранить последствия вооруженных действий, за исключением разрушений в так называемой Кадарской зоне (селения Карамахи и Чабанмахи).

В отличие от председателя правительства РФ С.В. Степашина, который дарил именные пистолеты лидерам сепаратистского режима в Чечне, хвалил деятельность религиозных экстремистов, взявших под вооруженный контроль ряд сел Дагестана, и, наконец публично произнес растерянную фразу: “Дагестан можем потерять!”, возглавивший в сентябре 1999 г. правительство, а затем избранный президентом Российской Федерации В.В. Путин занял жесткую позицию в отношении сепаратистского режима в Чечне. Осенью

1999 г. была начата масштабная военная кампания по разгрому вооруженных формирований в Чечне и по восстановлению контроля федеральной власти на этой территории, которая получила официальное обозначение как антитеррористическая операция.

Страна пережила новый вооруженный конфликт с тысячами убитых и раненых из числа федеральных военнослужащих, чеченских боевиков и мирных жителей. К июню 2001 г. вторая война уже унесла жизни около 3 тыс. военнослужащих и около 8 тыс. было ранено. Еще больше погибло российских граждан в Чечне из числа мирных жителей и чеченских боевиков. Около 150–200 тыс. человек покинули территорию Чечни, и только часть вернулась после прекращения интенсивных боев.

Утратив контроль над основной территорией и понеся большие потери, сепаратистские вооруженные группы перешли к методам партизанской борьбы и к тактике террористических действий против федеральных вооруженных сил, а также лояльно настроенного мирного населения. Масштабное присутствие армии и других федеральных сил в Чечне сопровождается попытками создать эффективную и легитимную местную администрацию, восстановить основы жизнедеятельности населения и осуществить постконфликтную реконструкцию чеченского общества. Правительство РФ приняло специальную программу мирного восстановления экономики и социальной жизни в ЧР. Но военные уже не имели необходимой поддержки со стороны местного населения, страдающего от тягот войны и массовых нарушений прав человека.

Чеченская война была и остается одной из важнейших проблем российского общества. По разным причинам к ней проявляют внимание другие государства, международные организации и мировая общественность. Она является предметом многих журналистских описаний и академических исследований. Последние представляют собой преимущественно политологический анализ. Мною предлагается версия чеченской войны, выполненная в основном в дисциплинарных рамках социально-культурной антропологии. Это не описание войны, а скорее ее этнография – этнография чеченского конфликта, которую до этого никто не изучал, хотя она того, безусловно, заслуживает.

Я вряд ли могу сказать, что наказ одного из чеченцев “собрать все вместе и связать”, чтобы получилась цельная картина войны, выполнен. Скорее, наоборот, моя версия столь радикально отличается от всего написанного до сих пор о Чечне, что она лишь увеличит интеллектуальный разброд и продолжающиеся дебаты. Один из моих российских коллег готовил, как он объявил приглашенным авторам, “первую книгу о чеченской войне без ангажированности и политических предпочтений”. Однако заявленное, а затем и опубликованное ее название – “Чечня и Россия: общества и государства” выдавало столь высокую степень идеологической заданности, что с трудом верилось в осуществимость данного проекта.

Для меня, не приемлющего клише “Россия и Чечня” и сомневающегося, что в условиях войны в последней есть государство, претензии на объективность и идеологически стерильную версию маловероятны. Такая задача мною и не ставилась. Цель книги – донести прямые голоса участников драмы, их собственные версии пережитого и дать свое понимание рассказанных историй скорее как комментарии на страницах полевого дневника. Это не означает, что у меня нет позиции, в том числе и политической, моя позиция будет заявлена. Но все же главная цель – выполнить, базируясь на этнографическом методе, научный анализ феномена общества, оказавшегося вовлеченным в глубокий насильственный конфликт, и на основе нового знания сделать теоретические выводы, имеющие значение для науки и общества.

Предлагаемая работа была начата не для того, чтобы написать историю одного из многих насильственных конфликтов конца XX в. Мне, как историку и этнологу, понятна необходимость временной дистанции, и отсутствие ее было серьезным препятствием, особенно из-за ежедневного эмоционального воздействия происходящих событий и при оценке действий отдельных персоналий, многие из которых знакомы мне лично. Препятствием стало также наличие пространственной дистанции между традиционно понимаемым этнографическим полем и местонахождением исследователя: война сделала для меня фактически невозможной работу на территории Чечни. Оба обстоятельства идут вразрез с моими профессиональными стандартами как историка и этнолога (первому нужна временная дистанция, второму необходим прямой доступ к изучаемому объекту). О преодолении возникшей методологической трудности речь пойдет в первой главе. Замечу только, что я не первый и не последний из историков и этнологов, кто оказывался в подобных ситуациях.

Вполне естественно, что мне трудно рассчитывать на однозначно позитивную реакцию предлагаемой версии конфликта как со стороны коллег, писавших на эту тему, тексты которых в той или иной степени подверглись моей критике, так непосредственных участников конфликта – чеченцев, особенно тех, кто посвятил себя обоснованию “войны за самоопределение”. Главный идеолог чеченской сессии Мовлади Удугуов уже давно поместил на свой интернетовский сайт (www.kavkaz.org) текст моих предложений по мирному урегулированию чеченского конфликта, которые были представлены председателю правительства Российской Федерации В.С. Черномырдину весной 1995 г. (см. Приложение. Док. № 1), снабдив их таким комментарием:

“Следующий текст российского специалиста по этнографии Тишкова – один из многих свидетельств того, что практически все российские политики, общественные деятели и ученые вместо поддержки естественного пра-

ва каждого народа на свободу и независимость и на свою собственную государственность пропагандируют наукообразные рецепты – как сохранить борющийся за свободу народ в имперской клетке России”.

Каким образом к Удугуову попал этот конфиденциальный документ, остается загадкой, как и многое другое в сложной драме чеченской войны. Тем более интригующей выглядит задача написать этнографию одного из наиболее жестких внутригосударственных конфликтов нашего времени.

Многие организации и конкретные люди оказали содействие и поддержку данному исследованию и его изданию. Прежде всего моя признательность Фонду Гарри Фрэнка Гуггенхайма (The Harry Frank Guggenheim Foundation), который предоставил грант для этой работы. Благодаря Фонду Рокфеллера я имел возможность в течение месяца находиться в Центре для конференций и исследований в Белладжио (Италия), где в феврале 1998 г. написал первые главы книги, параллельно работая с профессором Мартой Олкотт над другим проектом. Особую признательность выражаю профессору Робу Борофски, которого в нашей переписке по электронной почте я прозвал “кнутом” (термин, используемый в США для боссов партийных коалиций), ибо его настойчивость получить мою рукопись заставила меня закончить ее с задержкой всего лишь на два года. Он предложил написание англоязычного варианта книги для начатой им серии “Антропология для общества”, которую выпускает Издательство Калифорнийского университета, и взял на себя труд по редактированию перевода. Англоязычный вариант выйдет в свет после русского издания и в несколько сокращенном виде.

Из моих коллег по Институту этнологии и антропологии Российской академии наук я признателен члену-корреспонденту РАН С.А. Арутюнову, который высказал ценные замечания по рукописи, продемонстрировав в очередной раз свои фундаментальные познания и доброжелательность, и доктору исторических наук М.Ю. Мартыновой за внимательное прочтение рукописи, правку и замечания. Выражаю благодарность кандидату философских наук А.С. Крыловой, кандидату географических наук В.В. Степанову и О.Г. Симоновой за содействие в подготовке рукописи к изданию. В книге с любезного позволения помещены фотографии известных российских фотожурналистов В. Бышовца, О. Климова, Ю. Козырева, О. Никишина, В. Щеколдина, снимавших в Чечне в годы вооруженного конфликта.

Глубоко благодарен моим партнерам по исследованию (интервьюерам, информантам, кросс-рецензентам) из числа чеченских ученых – докторам исторических наук Джабраилу Гакаеву и Андарбеку Яндарову, кандидатам наук Галине Заурбековой, Вахиту Акаеву, Хеде Абдуллаевой, Мусе Юсупову и Исмаилу Мунаеву, кросс-рецензенту Рустаму Калиеву. И, конечно, огромная признательность

всем участникам и свидетелям конфликта, которые поделились своими рассказами, размышлениями и оценками.

Некоторые из информантов погибли в новой войне, а Юсуп Сосламбеков был убит летом 2000 г. недалеко от своей московской квартиры. Здесь уже более уместно выражать скорбь и соболезнование. Война как пожиратель человеческих жизней и здоровья настигает далеко за пределами зоны вооруженной борьбы. Этого не может не чувствовать исследователь, на какой бы пространственной и морально-психологической дистанции он ни находился, изучая конфликт. Мне в равной мере стали сопереживаемыми гибель и страдания моих сограждан независимо от их этнической принадлежности. Будь это федеральные военнослужащие и их близкие, мирные жители Чечни и даже воюющие чеченцы, многие из которых стали жертвами идеологических и политических манипуляторов и заложниками кровавой спирали насилия. Как сказал в 1996 г. тяжело раненный и неоднократно отмеченный наградами сепаратистского режима 30-летний “чеченский генерал” Таус А., *“от Дудаева мне тошно, хоть реви. А от злодейств российской армии душа разрывается”*.

Глава I

ЭТНОГРАФИЯ И ПОЛИТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА

Помимо исследовательского смятения перед автором встала моральная дилемма, которую хотя и непросто, но необходимо объяснить. В течение восьми лет тема Чечни была частью моей жизни. Мне довелось заниматься проблемой мятежной республики и ее жесткого конфликта с российской федеральной властью в период, когда я был министром по делам национальностей Российской Федерации в 1992 г., участвовать в составе федеральной делегации в переговорах с представителями мятежного руководства Чеченской республики в декабре 1994 г. во Владикавказе, работать в правительственной комиссии по мирному урегулированию конфликта в 1995–1996 гг., встречаться и беседовать с людьми, выступать на конференциях, давать комментарии в СМИ. Я размышлял и обменивался мнениями с женой. Она первой и определила моральную проблему исследования войны, насилия и людских страданий как форму интеллектуального цинизма профессионалов, для которых конфликт – это всего лишь “тема” и источник карьерного вознаграждения.

Возможно, это слишком категоричное суждение, но ясно, что как бы ни декларировались сострадание и симпатизирующая позиция в отношении объекта исследования, ученые и другие авторы, пишущие об обществе, ввергнутом в войну, находятся *вне событий*. Даже если они были и остаются его “включенными наблюдателями” или идеологическими бойцами за “справедливое дело”. Даже если они сами прошли через страдания и опасности, как это происходит часто с журналистами и реже с учеными. Все равно – это не их война и не их конфликт; они находятся на войне, но не *в войне*. Они находятся в зоне конфликта, но не *в конфликте*.

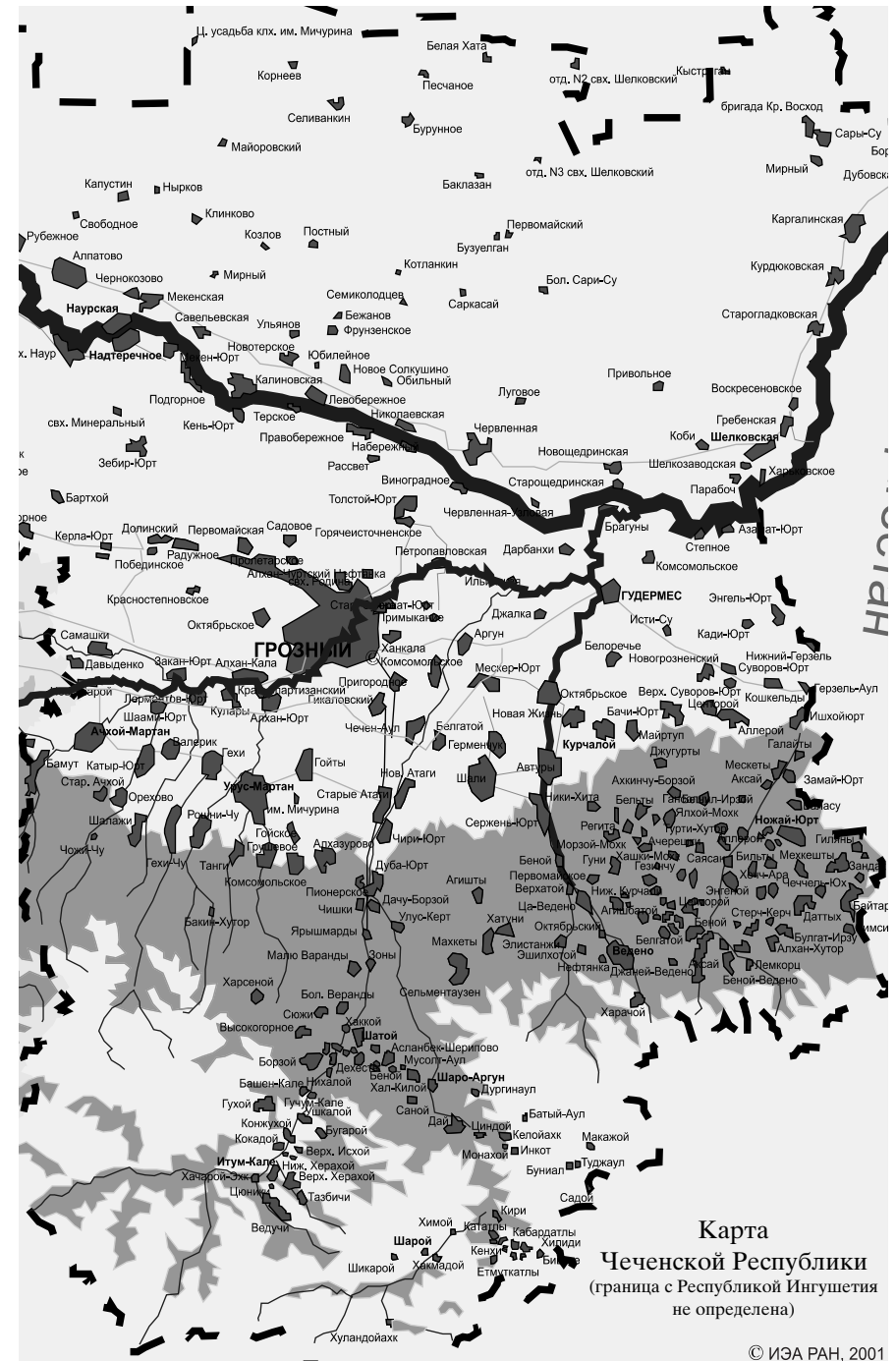
Это ощущение узурпации конфликта аутсайдерами в целях его анализа или урегулирования, но всегда для внешней презентации (“на продажу”) не покидало меня во время работы над книгой. Каждый раз, когда мой московский кабинет посещали чеченцы или дру-

гие, выражаясь традиционным языком этнографа, “мои информаторы”*, я испытывал чувство неловкости за свое отстраненное благополучие. Ибо я знал, что большинство из них пребывает в состоянии психологической травмы и непоправимых жизненных потерь. Партнеры по исследованию, как я предпочитаю их называть, уходили после наших встреч часто, к сожалению, не домой. В ходе конфликта почти все они потеряли прежнее жилье и накопленное имущество, а многие из них и близких.

После короткого пребывания в Москве в надежде получить денежную компенсацию и подлечить подорванное здоровье Малика Сальгириева возвращалась в пригород Грозного, в дом своего брата, где она живет после смерти мужа в апреле 1996 г. (мужний родительский дом теперь стал домом ее свекрови и сестры мужа). Ахъяд Д. со своим другом Лом-Али снимал номер в гостиничном комплексе “Измайлово” после годовой отсидки в тюрьме “Лефортово” (правда, у него есть “военный трофей” – квартира в Грозном, где живет жена с тремя детьми). Вахит Акаев после встречи со мной шел пешком от здания института к общежитию МГУ на Воробьевых горах, где посещал курсы повышения квалификации. Он строил планы, как перевезти семью и даже ближайших коллег-ученых из Грозного (по его словам, “ученым там места нет”). Хеда Абдуллаева жила с младшей сестрой в оплаченной дядей до следующего месяца однокомнатной квартире в Москве, а дальше ситуация была неясной. Джабраил Гакаев, потеряв две квартиры в Грозном и лучшую в Чечне гуманитарную библиотеку, купил в долг трехкомнатную квартиру в добротном московском доме, где разместился с пятью взрослыми детьми. Андарбек Яндаров за время нашей работы сменил несколько мест в Москве и, наконец, договорился о комнате в общежитии Сельскохозяйственной академии, где живет с женой и двумя малыми детьми.

Чеченские профессора, мои ровесники по возрасту, Джабраил и Андарбек были последними, с кем я разговаривал в феврале 1999 г. накануне отлета в Италию на виллу Сербеллони в Белладжии, что-

* Понятие “мой информатор” я стал избегать за его спекулятивный смысл, особенно после того как прочел раздел с анализом чеченского конфликта из труда одного известного антрополога. В нем имелась одна единственная ссылка такого содержания: “как мой информатор ... сказал...”. Это было сделано явно для того, чтобы получить право на описание конфликта в соответствии с дисциплинарным стандартом. То, что отсылка “мои информаторы” довольно часто служит ритуальным усилителем исследовательской презентации, достаточно хорошо известно. Через подобное клише мы узурпируем не только право на сам рассказ, но и на его источники, или выдаем эти источники за “свои”. В нашем случае расхожее понятие оказалось неприемлемым и по чисто лингвистическому признаку. В русском языке, а тем более в Чечне в период конфликта, слово “информатор” однозначно воспринималось и воспринимается как “агент спецслужбы”. Поэтому в книге употребляется несколько менее нагруженное понятие “информанты” для авторов личных историй и понятие “партнеры по исследованию” в отношении моих чеченских коллег-обществоведов. Некоторые из них выступают в той и другой роли одновременно.



бы приступить к написанию текста книги в одном из самых красивых и комфортных для ученых мест в мире – рокфеллеровском Центре конференций и научных занятий. Здесь я испытал ощущение противоположных жизненных траекторий тех, кто по моде современной антропологии составляет единую диалогичную пару “антрополог–информатор”, каждый раз, когда переводил взгляд от разложенных на столе текстов жизненных историй-интервью на красоты озера Комо и Итальянских Альп. Острота этой моральной проблемы несколько уменьшилась, когда я получил от администрации Центра дополнительное денежное довольствие как “представитель страны с низким жизненным уровнем”.

По сравнению с западными коллегами мое московское благополучие выглядело скромным, и сама благополучность стала понятием относительным. Глядя на норковые манто итальянских дам, я вспомнил, что и чеченки, с кем я беседовал в зимнее время, почти все были одеты в меховые шубы, а чеченские мужчины носили дорогие костюмы и безупречно чистую обувь. Позднее я побывал в гостях у Джабраила и порадовался не только за его новую квартиру, но и еще раз подивился способности многих вынужденных переселенцев-чеченцев преодолевать трудные жизненные ситуации.

Еще одна моральная дилемма присутствовала в факте моей принадлежности к доминирующей в России русской этничности и моего местонахождения в Москве. Как известно, оба адресата (культурный и политико-географический) далеко не нейтральны по отношению к чеченской войне. Именно на них (“Россия”, “Москва”, “русские”) направлена распространенная проекция как на одну из конфликтующих сторон и как на главного виновника случившейся трагедии. Эти слова – самые частые категории в объяснительных моделях причин войны и ее виновников, включая язык многих чеченцев. Как призналась моя помощница, Хеда Абдуллаева, ее коллега по прежней работе в представительстве Чечни в Москве как-то задала ей вопрос: “А ему не стыдно еще и писать об этом после всего, что русские натворили в Чечне?”

Мне удалось заметить, что “Россия”, “Москва”, “русские” как собирательные понятия виновника войны больше присутствуют среди тех чеченцев, которые проживают в Чечне. Но и в этом случае под “русскими” понимаются или непосредственные исполнители вооруженного насилия, или русские как “пассивные виновники”. По словам моего чеченского кросс-рецензента Рустама Калиева, “виновность видится только в том, что русские не так активно протестовали и тем самым не смогли предотвратить войну”. Чеченская исследовательница Залпа Берсанова провела серьезное социологическое обследование во время войны. На заданный в 1995 г. вопрос “Считаете ли Вы русский народ виновником трагедии, происходящей с чеченцами?” она получила следующие ответы: среди людей старше-

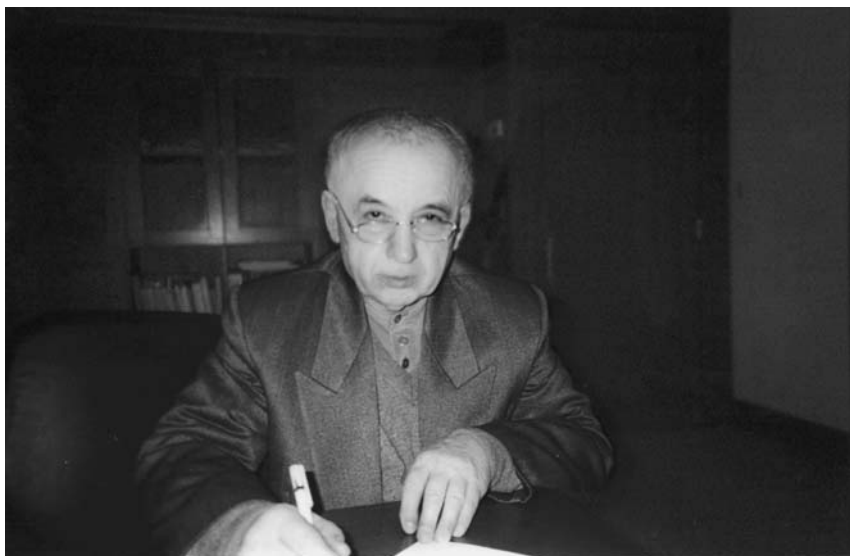
го возраста (60–80 лет) 15% сказали “да” и 67% – “нет” (18% не смогли ответить); среди молодых людей (17–30 лет) 32% сказали “да” и 46% – “нет” (22% не смогли ответить). Полученные результаты позволили ей сделать такое заключение: “чеченцы все же резко отличаются Россию, ее власть и русских, и то, что, несмотря на все пережитое, большинство из них все же русский народ не винит, говорит о потенциале чеченской терпимости”¹.

Было только два случая, когда я почувствовал фактор “аутсайдера” при сборе материала для книги. Один из бывших активных бойцов Дудаева остерегся встречи и разговора с “русским”, когда ему было сделано такое предложение. Сотрудница аппарата Министерства образования Чечни, находясь в Москве в 1998 г., не захотела разговаривать со мной из-за возможных негативных последствий или, вероятно, просто по причине застенчивого характера. В остальных случаях я находил в чеченцах хороших партнеров, интересных собеседников и добрых друзей. Мне не нужно было скрывать собственную позицию, в том числе и то, что мною уже было написано о чеченском кризисе. Многие знали об этом, а также об участии в переговорах с представителями правительства Дудаева в декабре 1994 г., когда начались военные действия федеральных войск в Чечне.

В период работы над книгой я старался не участвовать в экспертных работах, выступать с комментариями по российскому телевидению и публиковаться в периодических изданиях на чеченскую тему. Однако в полной мере сделать этого не удалось. После нового цикла войны и встречи с президентом В.В. Путиным 9 февраля 2000 г. мною были опубликованы в популярных российских газетах статьи “Как предотвратить третью чеченскую?” (“Труд-7”, 2000. 6 апр.), “Слова и образы в чеченской войне” (“НГ – Сценарий”. 2000. № 11. 10 дек.).

Возможная реакция на газетные публикации или на телевизионные выступления могла повредить прежде всего тем, кто работал со мной по сбору полевого материала. Эта проблема остается и на будущее, когда книга увидит свет и к ней появится отношение, причем, вполне вероятно, негативное со стороны части чеченских интеллектуалов и политиков (не думаю, что книгу будут читать простые чеченцы, хотя последнее совсем не исключено*). Джабраил Гакаев заверил, что *“очень многие чеченцы в Чечне и за ее пределами будут разбирать по строчкам Ваш текст, потому что это им важно и интересно”*.

* Одним из поразительных моментов была просьба чеченца Ахьяда, который с трудом в свое время закончил сельскую среднюю школу, дать ему “еще что-нибудь прочитать про Чечню”, так как взятые у меня ранее сборник исторических документов о русско-чеченских отношениях и мои публикации он уже прочитал и ему это было очень интересно. Я снял с полки несколько исторических книг по Чечне и отдал ему.



А.Д. Яндаров. Январь 1998 г. Фото В.А. Тишкова



Х.Р. Абдуллаева с автором книги. Ноябрь 1997 г. Фото К. Банникова

Учитывая жесткий характер длительно существовавшего политического режима в Чечне, готовность и способность вооруженной части общества практиковать насилие против “врагов чеченской государственности” и “предателей нации”, а также сильную эмоциональную вовлеченность чеченской элиты в объяснительную сторону конфликта, я был вынужден принять некоторые меры безопасности в отношении интервьюируемых. Почти все они представлены в книге без указания фамилий (только имена). Это не касается основных партнеров по сбору интервью: профессора Андарбека Яндарова вместе с женой Галиной Заурбековой, защитившей кандидатскую диссертацию в Институте этнографии РАН, и филолога Хеды Абдуллаевой, также защитившей кандидатскую диссертацию в Институте мировой литературы РАН. Под полными именами идут и мои чеченские кросс-рецензенты Вахит Акаев и Рустам Калиев, перекрестные комментарии которых приводятся в ряде глав.

Следует сказать, что анонимность в данном случае носит довольно условный характер и не всегда необходима или возможна. Мой партнер по исследованию, информант и кросс-рецензент Джабраил Гакаев не нуждается в конспирации, ибо открыто выступает с позиции осуждения курса на вооруженную сецессию, политики Дудаева и Масхадова. Среди чеченских боевиков он давно находится в списке “предателей нации”. Уже в период восстановления в Чечне федерального контроля летом 2000 г. некоторые известные чеченские лидеры называли его имя вместе с именами Саламбека Хаджиева и Лечи Магомадова как возможных руководителей республики в период постконфликтной реконструкции после нового цикла войны. В частности, один из руководителей временной администрации Беслан Гантемиров высказался так: “Я сделаю все возможное, чтобы наладить мирную жизнь. Нашей республике был бы полезен также Саламбек Хаджиев, но есть и другие лидеры. Это Джабраил Гакаев, Леча Магомадов”. (“Время новостей”. 2000. 6 мая. С.2.)

ПОЛЕ БИТВЫ КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Условия войны и послевоенная ситуация не позволили выполнить главное правило антропологического исследования – провести полевую работу в самой Чечне. Я осознаю эту слабость моей книги: в ней нет автора на поле сражения и даже в опасной ситуации – волнующий момент в книгах западных журналистов и антропологов, “прошедших войну”². Но ситуация недоступности стимулировала переосмысление самого понятия “этнографическое поле”, чему способствовала также последняя работа об антропологических местоположениях, изданная под редакцией Акхила Гупты и Джеймса Фергюссона³. В ней ставится фундаментальная проблема цеховой основы социально-культурной антропологии и этнологии: что есть поня-

тие “поля” в современной исследовательской стратегии, когда погружение аутсайдера в локальную общину “другой культуры”, долгое время считавшееся торговой маркой антропологического исследования, во многих случаях превращается в авторитарную епитимию, не позволяющую реализовать исследовательскую задачу. Не локальность, а создаваемое самим антропологом поле с его особыми границами (ментальными и пространственными), то, что Гупта и Фергюссон называют местоположением (*локацией*), является более свободным и обещающим подходом к профессиональному методу. Мы разделяем следующие суждения этих авторов:

«Включенное наблюдение продолжает оставаться основной частью стационарной антропологической методологии, но оно все меньше фетишизируется. Разговоры и жизнь среди членов общины продолжают сохранять свою значимость наряду с чтением газет, анализом правительственных документов, наблюдением за действиями правящих элит и выявлением внутренней логики транснациональных институтов развития и международных корпораций. Вместо вымощенной дороги к цельному знанию “другого общества” этнография все больше признается в качестве гибкой и оппортунистичной стратегии для более разнообразного и более сложного понимания различных мест, людей и существующих преград познания через внимание к разным формам знания, которое имеется в разных социальных и политических местоположениях»⁴.

Многу разделяется также и тезис о более свободном понимании этнографического метода, который в современных условиях не может не включать анализ общественно-политического дискурса, журналистики, литературных текстов, статистики, интервью и массовых опросов. Некритическая лояльность к идеальному представлению об этнографическом поле и полевой работе на самом деле является продолжением научной традиции, которая сложилась во времена жесткого пространственного деления мира на “дом”, где живет антрополог (естественно, “белый” европеец), и “поле”, где находятся “аборигены в их естественном состоянии” и откуда этот антрополог сообщает о “другой” культуре⁵.

Ментальная (хотя и не пространственная) дистанцированность и одновременно экзотизация традиционного этнографического поля все меньше подходят для анализа нетерриториальных культурных систем и более широких взаимодействий, тем более для анализа обществ, где локальная целостность и культурная отличительность взорваны внешними воздействиями или, наоборот, являются результатом и продолжением этих внешних воздействий. Изучаемый нами объект под названием “чеченское общество”, – безусловно, в большей степени феномен, созданный самим конфликтом, ибо в таком социально-культурном и особенно в пространственном (более половины чеченцев находятся за пределами территории Чечни) облике чеченское общество никогда до этого не существовало.

В моей работе встал также важный вопрос о связи политики и этнологического исследования, что немаловажно для анализа феномена насилия, где невозможны научная стерильность и идеологическая отстраненность. Последних никогда не было и в прошлой антропологии, начиная от Н.Н. Миклухо-Маклая и Б.Малиновского. Принцип идеального поля и полевой работы (их обычное определение – это “детальное исследование ограниченного пространства”) только внешне призывался в главные критерии достижения научной истины и политической нейтральности, но сам этот призыв почти всегда скрывал конкретную политику и идеологию ученого или его спонсора. В этой связи Гупта и Фергюссон справедливо пишут:

«Традиционная приверженность “полю” привела к своего рода особой форме политической заангажированности в смысле как производимого знания, так и характера создаваемого дисциплинарного субъекта. Наша установка больше на меняющиеся местоположения, чем на четко обозначенные поля, связана с другим политическим видением, – тем, которое рассматривает антропологическое знание как форму ситуативной интервенции. Вместо того, чтобы рассматривать этнографическую интервенцию как беспристрастный поиск истины на службе универсального гуманитарного знания, мы рассматриваем ее как средство отправления особых политических целей одновременно с поиском линий общего политического целеполагания среди единомышленников-союзников, которые могут быть повсюду... Прикладная антропология и особенно антропология действия уже давно связывали этнографическую практику с особыми и откровенно политическими проектами. Отчасти по этой причине такого рода проекты подвергались сомнению в сфере академической антропологии. И все же мы бы отметили, что связь того или иного исследования с политической позицией сама по себе не ставит под сомнение местоположение антрополога как общественного активиста. Поскольку даже самые политически заангажированные “эксперты” могут рассматривать самих себя как занимающих внешнюю и эпистемологически безупречную позицию.

Вместо того, чтобы смотреть на антропологов как на носителей уникального знания и научных проникновений, которыми они могут поделиться или которые могут задействовать к пользе “простых людей”, наш подход придерживается того, что антропологическое знание сосуществует с другими формами знания. Мы видим политическую задачу не столько в дележе определенного знания с теми, кто им не обладает, сколько в создании связей между *разными* знаниями, которые возможны из разных местоположений, и в установлении между ними линий возможного альянса и общего целеполагания. В этом смысле мы рассматриваем исследовательскую область в меньшей степени как “поле” для собирания данных, а скорее как место для стратегических интервенций»⁶.

Ясно, что современные культуры и “антропологические события” уже не так жестко привязаны к географическому месту: они путешествуют столь же интенсивно, как и профессиональный этнограф, а часто опережают его. Во время пребывания в Женеве на конференции неправительственных организаций в июне 1999 г., за два вечера в гостиничном номере чеченец Умар Джавтаев рассказал

мне больше о дагестанских чеченцах-аккинцах и об их отношении к войне в Чечне, чем если бы я поехал к нему на родину в пограничный с Чечней Хасавюртовский район Дагестана. Хотя для себя я сохраняю его предложение.

“Я же приглашаю Вас к себе! Это значит, что я лично несу за Вас полную ответственность, никто и ничего не сможет Вам сделать. Здесь уже действует наш закон и моя личная честь, которую я не могу потерять, если моему гостю будет нанесен вред, а я его не смог защитить. Это у нас чеченцев и дагестанцев самый святой закон”.

Кстати, именно тогда, в июне, Умар убежденно говорил мне: *“Вы что, не понимаете, что скоро, максимум в сентябре, в Дагестане начнется большая война. Это абсолютно точно”.* Умар ошибся всего на пару месяцев: военные действия в Дагестане начались в конце июля.

В ситуации с Чечней обнаружился феномен, который вообще заставил меня усомниться в незыблемости постулата “полевой работы на месте”. Разорванное войной и насилием общество и пребывающий в нем исследователь мистически теряют способность к осмыслению и даже к адекватному описанию. Информация “фонит” разного рода манифестными проявлениями и эмоциональными отношениями, которые в спокойной обстановке обычно отсутствуют. Этот фон становится основным смыслом, за которым больше ничего нет и в принципе быть не может, ибо сам рассказ становится посланием или лозунгом.

Один из ведущих специалистов по этнографии чеченцев Я.В. Чеснов, совершал отважные поездки в Чечню и проводил там полевые исследования до и в период разрушительных военных действий. В опубликованных им текстах⁷ есть много историко-этнографических наблюдений и культурно-цивилизационных конструкций, но только нет самих чеченцев и самого конфликта. В данном случае чеченцы нужны исследователю скорее как современная отсылка к некоему древнему субстрату, идеальному (нормативному) образу чеченства, утраченному в современной жизни.

Скорее всего в этом виновата советская этнографическая школа с ее третирующим современности и с ее неумением антропологически исследовать человека, кроме как этнофора, “носителя этноса”, или как материал для выявления “родового обособленного тела этноса” или, наконец, в нашем случае – уникальной чеченской цивилизации. “Ну, вот, скажи, Исмаил, ведь есть же где-то и существовала чеченская цивилизация, и я все равно ее отыщу!”, – говорил Ян Чеснов, когда мы сидели в столовой Дома правительства в разбитом Грозном в октябре 1995 г. Исмаил Мунаев, бывший тогда заместителем министра информации и печати в правительстве Саламбека Хаджиева, и другие чеченцы согласно кивали головами: “Наверное, должна быть. Это хорошо, что ты нас так любишь, но ты, Ян, наивный и романтик”.

Изучая общество в состоянии конфликта, я допускаю, что само поле (прежде всего информанты) может пребывать в столь возмущенном и ментально узурпированном состоянии, что фиксировать удастся только лишь сам этот фон и навязанную реальность, которая иногда безосновательно называется *ирреальностью*. Интересно, что аудиозаписи, которые Ян Чеснов привез мне после своего очередного посещения Чечни в 1996 г., нельзя было использовать: почти все вопросы были мимо; ответы на них чеченцев были стандартны и поверхностны или в них явно сквозили кураж и ирония. Это был такой же заданный и пустой разговор, как в российских и зарубежных телерепортажах из Чечни или на видео, снятых журналистами или любителями в ходе войны.

“За что воюете?”, “Зачем пришли в Чечню?”, “Как с Вами обращаются?”, “Кто во всем виноват и что происходит в Чечне?” – эти много раз публично заданные вопросы создали выученный набор ответов, превратив массовое мышление в вариант мифомедийного образа.

“Воюем не известно за что”, – говорят военнотружущие федеральной армии в зоне вооруженного мятежа. *“Чечня – это не наша земля”,* – заявляют в микрофон российские граждане про свою страну.

“Кормили и обращались нормально, сильно не били”, – сообщают униженные и истощенные пленники чеченцев.

“Мы воюем, чтобы защищать своих матерей и свои дома”, “У нас право на самоопределение”, “За что нас бомбит Россия?”, – отвечают воюющие чеченцы.

Спустя три года те же федеральные военнотружущие, от генерала до солдата, произносят: *“Мы здесь навсегда. Это наша земля и это часть России. Мы покончим здесь с бандитами”.*

Что касается заявлений чеченцев перед микрофонами и камерами в условиях изменившихся настроений и более жесткой полевой цензуры, то они примерно следующие:

“Устали жить при бандитах и под бомбежками. Уж если советская(!) власть вернулась, тогда хотя бы не уходила. Мы против России не воевали и не воюем, но если в дом свои боевики попросятся, выдавать не станем. Этих бандитов сами уничтожим: такое горе от них”.

Этнографическое поле во время разрушительного конфликта оказывается не более чем газетной страницей, упрощенной до полуживой и пропагандистской тривиальности. Информант видит и показывает только на руины и жертвы, его слова – это не рассказ, а обращение с жалобой или с гневным посланием, это просьба-мольба или слова мести. Он демонстрирует оружие борьбы и насилия как знак самоутверждения, говорит лозунгом, написанным на стене дома или сказанным по телевизору. Он мало что понимает в происходящем. Слухи и верхушечные версии – вот что фор-

мирует и содержит сознание информанта в обществе, ввергнутом в конфликт.

Ситуация становится еще хуже, если спрашивает внешний обозреватель, который почти всегда получает ожидаемую версию, чтобы встроить ее в собственное сочинение о войне. Две обстоятельные книги⁸, написанные западными авторами (журналисты Шарлотта Галл и Томас де Ваал и журналист-антрополог Анатолий Ливен) и пользующиеся успехом, имеют одну слабость: все “прямые голоса” в этих текстах политически декларативны и часто лживы, подобным свидетельствам невозможно верить, а тем более принимать их как позицию “народа”, “чеченцев”, “Чечни” и т.п. Эти книги не о конфликте, а в большей степени о словах по поводу конфликта, что, конечно, не отменяет профессионализм авторов и то обстоятельство, что в книгах содержится богатый и разнообразный материал.

Если основной источник информации и предмет описания – военный штаб или дом Шамиля Басаева, то это одна версия конфликта. Если источник – госслужащий грозненской администрации в период правительств Саламбека Хаджиева и Доку Завгаева, то это совсем другая версия. Московский чеченец из числа интеллектуалов или предпринимателей – третья версия. Одни по-журналистски хлестко пишут в академическом сочинении о “кровавой бане”, устроенной российскими военными в чеченском селе Самашки, и воспринимают как рутинную корректность истребление такого же числа людей при нападении на военную колонну федеральных войск (подспудная логика такова: так им и надо, не следует вторгаться на “чужую” территорию)⁹. Ничего подобного в оценке действий американских военных против гражданского населения Ирака или Югославии, а также действий парамилитарных групп против американских военных в Сомали встречать не приходилось. Здесь как бы есть или общий консенсус “международного сообщества” или какая-либо ссылка на международно-правовую норму. С противоположных, но равно поверхностных позиций другие авторы описывают недоказанные зверства чеченцев и “криминального режима” Дудаева¹⁰.

Эта абсурдность происходящего, включая сферу восприятия и объяснения, была отмечена мною в октябре 1995 г. Свои впечатления о Грозном я тогда записал в своем дневнике:

«До этого я знал Грозный как привлекательный и мирный город. Сейчас, после года войны, город лежит в руинах. Чеченские мужчины в черных кожаных куртках снуют вокруг, держа в руках автомат или папку с бумагами. Чеченские и русские женщины кладут кирпичи и красят постройки, пытаясь восстановить места для жилья. Федеральные военные и местные милиционеры – все с напряженными лицами; прошло всего пару дней после взрыва автомобиля, в котором ехал командующий войсками генерал Анатолий Романов... Саламбек Хаджиев, тогдашний глава временного прави-

тельства в Грозном, зажатый множеством проблем и групповых противоборств, обращается к участникам круглого стола “Россия и Чечня: испытание государственности” с просьбой о “конструктивных идеях и конкретных рекомендациях по преодолению кризиса”. Табличка на его кабинете гласит “Академик Хаджиев”, чтобы напоминать каждому о подлинной мудрости этого человека. В коридоре правительственного здания я встретил Беслана Гантемирова, мэра города Грозный, который в декабре 1994 г. во время нашей первой встречи на переговорах во Владикавказе представился как “боевик”. Сейчас он был окружен охранниками, которые сопровождали его даже до двери туалета.

Здесь же, во дворе здания федеральной администрации я встретил еще одного хорошо охраняемого человека, заместителя секретаря Совета безопасности РФ Владимира Рубанова, который высказал мрачную, но крайне пронизательную реплику: “Научный анализ – это хорошая вещь, но некоторые решения могут приниматься по причине или накануне лишку выпил, или утром рассола не хватило”. Вахит Акаев, директор Чеченского института общественных наук, показывает мне разбитое здание института и сгоревшие архив и библиотеку. Он же передает через меня заявку в Российский гуманитарный научный фонд на исследовательский проект “Национально-освободительные движения в Чечне в XIX веке”.

Что-то происходит явно не то с политикой и с наукой в обществах, ввергнутых в конфликт. Та и другая начинают выглядеть глупыми и аморальными в ряде аспектов. Ни политики, ни ученые еще не готовы сделать признание “Мы были не правы”, как это сделал Роберт Макнамара в отношении Вьетнамской войны спустя только 20 лет. Возможен ли объективный и самокритичный анализ, когда столько много вещей поставлено на карту, в том числе и десятки тысяч погибших? Или мы также обречены ждать 20 лет, чтобы извлечь все политические уроки и выполнить исследовательскую миссию? Неужели этот пожар в умах мешает нам делать выводы и заключения до тех пор, пока общество само не остынет от конфликта? И все же я полагаю, что некоторые заключения возможны и даже крайне необходимы. Даже если они будут не более пронизательны, чем ремарка одного грузинского интеллигента-политика, который сопровождал меня на встречу с Эдуардом Шеварднадзе в 1992 г. через разрушенный проспект Шота Руставели в Тбилиси: “Посмотри, как вдруг все грузины разом сошли с ума!”».

Тогда, в 1995 г. из всех зафиксированных разговоров я не смог выстроить даже фрагментов анализа: все рассыпалось от политизированности сообщений, их полумифического содержания и чрезмерной драматизации публичного дискурса, в который было вовлечено как обычное, так и элитное сознание. Необходим был момент хотя бы частичного успокоения политических эмоций. Это время пришло спустя три года, хотя данное заключение оспорил мой кросс-рецензент Рустам Калиев:

«Мне было всего 17 лет в 1995 г., когда я начал вести свой дневник, проживая в пригороде Грозного, Ермоловке, и вел записи в последующие годы. Я уже тогда решил стать журналистом. Потом, при попытках что-либо “собрать” на основе этих записей, я столкнулся с той же проблемой: полумифические истории, чрезмерная драматизация, эмоции по

поводу всего и не только личных моментов жизни. Фактов почти нет. Зато ни одного момента и даже намек на озлобленность или упрек в адрес русских, хотя в моих записях слова “российские власти” пестрели в весьма отрицательных смыслах. Но снова без фактов, а на основе эмоционального состояния, общих заключений и слухов.

Я уверен, что “момент частичного успокоения”, который “пришел спустя три года”, едва ли изменил основное правило, о котором Вы пишете выше: одни политические эмоции улеглись, но на смену пришли другие, и они не менее сложные и острые. По-прежнему, вольно или невольно, наблюдатель чеченской реальности рискует увязнуть в тех же проблемах политизированности и эмоциональности, но только в отношении других обсуждаемых сюжетов».

Рустам, пожалуй, более точен в своем анализе. Успокоение политических эмоций после окончания первой войны едва ли наступило. Доказательство тому – сама послевоенная ситуация, когда поездка в Чечню для обозревателей уже стала невозможной по причине личной безопасности. Бесспорно, это касалось и автора, который смог побывать в зоне конфликта только однажды, в октябре 1995 г. Необходима была какая-то методологическая новация для сбора материала и для доступа к “другой истории”.

МЕТОД ДЕЛЕГИРОВАННОГО РАЗГОВОРА

Приступая в начале 1998 г. к работе над книгой, я применил *метод делегированного разговора*, поставив на место московского антрополога-визитера выбранных мною партнеров из числа чеченцев, обладающих достаточными образованием и наблюдательностью, чтобы вести разговор на чеченском или на русском языках вокруг вопросов, которые меня интересовали. Это были простые вопросы, а вернее, темы для бесед: где находился тот или человек во время войны, что делал и как обеспечивал свою жизнь, как оценивает то, что произошло с ним и с его семьей, что думает о правителях и их целях, что изменилось в Чечне и чего ожидает от будущего? Вопросы также были о довоенной жизни, об истории семьи и обо всем другом, что хотел рассказать собеседник в ходе разговора. Я особо просил побеседовать с теми, кто воевал, и спросить, что означала для них эта война. Мне очень хотелось получить записи бесед не только с воевавшими мужчинами, но и старыми людьми, женщинами, подростками, чтобы полнее представить то, что называют “чеченским народом”.

Мои партнеры выполнили эту работу самым лучшим образом и, безусловно, удачнее, чем если бы я сделал ее сам. Привезенные из Чечни тексты интервью поразили меня своей искренностью и проникновенностью, образным и точным мышлением, великолепным простым языком, на котором уже разучились говорить сами ученые. Собранные материалы дополнили записи бесед, которые я сделал в

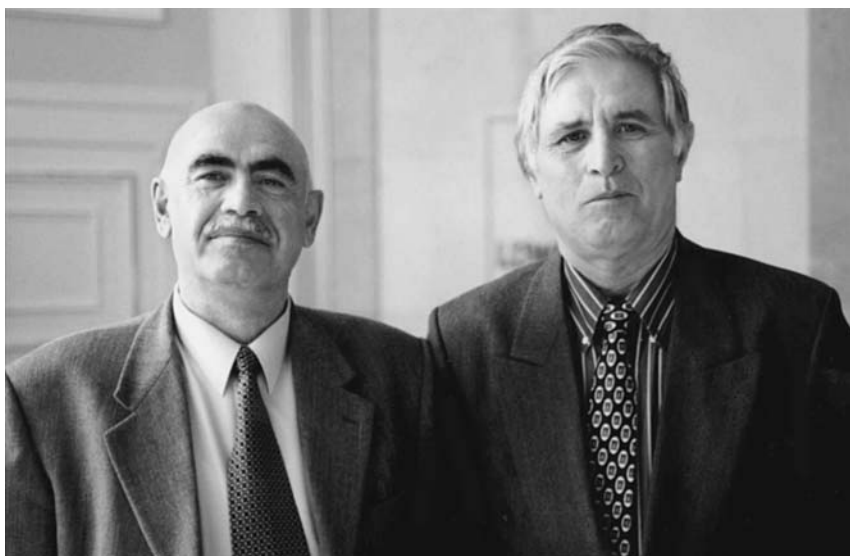
Москве и в других местах, особенно с политическими деятелями и интеллектуальными лидерами. Все тексты, вместе взятые, казались мне сами по себе гораздо более значимыми, чем то, о чем я собирался писать по их поводу. И все-таки мне, как автору, пришлось подчиниться закону жанра и создавать собственную версию.

Мой анализ строится на свидетельствах 55 человек, из которых 50 – чеченцы, один – ингуш, один – еврей и двое – русские, долго жившие и работавшие в Чечне, в том числе и во время конфликта. Мне не удалось выполнить часть задуманного плана и включить в исследование свидетельства российских военнослужащих, а также солдатских родителей. Это было бы нетрудной задачей, но уже полученный материал оказался вполне достаточен. Анализ так называемых федералов – фактически новая тема, которая еще ждет своего исследователя.

Что касается моих собственных бесед, то мне бы не хотелось их недооценивать. Большинство из них для меня были не менее значимы, чем любое интервью “в поле”, сделанное делегированными партнерами. На протяжении почти двух лет не было недели, чтобы в моем институтском кабинете не побывал кто-то из чеченцев и не состоялся бы тот или иной разговор. Эти встречи и беседы начались еще задолго до войны, когда в 1993 г. ко мне пришел ныне покойный Юсуп Сосламбеков – один из авторов чеченской “национальной революции”, лидер полумифической, но громко заявленной Конфедерации народов Кавказа. Колоритный Юсуп, постоянно носивший высокую каракулеву папаху, дал мне тогда достаточно пронзительный ответ на вопрос о том, что происходит в Чечне: “Если говорить кратко, то в Чечне выросла новая элита – в основном активная и образованная молодежь – и ей нужно место под солнцем”.

Годом ранее в этом же кабинете я получил не менее примечательный ответ от Артура Галстяна, аспиранта нашего института и тогдашнего мэра Еревана, когда спросил, в чем суть Карабахской войны для Армении. “Мы всегда были нацией побежденных и тиранируемых, а сейчас впервые в истории армяне стали нацией победителей”, – сказал Галстян. Обоих молодых харизматических лидеров сегодня нет в живых. Оба стали жертвами заказных убийств.

Это были не только разговоры на тему книги. Отношения с некоторыми чеченцами переросли в дружеские и беседы касались житейских проблем. Ахъяду нужно было помочь найти врача для консультации по поводу извлечения осколка из головы (“голова болит, и иногда становится совсем плохо, а без медицинской страховки нигде не принимают”). Андарбек Яндаров получил исследовательский грант РГНФ на изучение конфликта в Чечне и нуждался в консультации по поводу зарубежной литературы на сходную тему. Исмаилу Мунееву нужно было место в общежитии, чтобы как-то закрепиться в Москве и решать проблемы семьи, которую пришлось всю вывезти из Чечни.



Д.Д. Гакаев (справа) со своим родственником. Январь 1998 г.
Фото Г. Финклера



Горное село Шарой. 2000 г. Фото В. Бышовца

Я глубоко пережил личную трагедию, постигшую моего друга Джабраила. 7 июля 1999 г. его старший сын Мед погиб в автомобильной аварии всего в нескольких сотнях метров от их дома на Ленинском проспекте. Вывезти из-под бомбежек и спасти от ужасов войны всю семью, пристроить в хорошие вузы детей, радоваться диплому престижного вуза и первой зарплате сына на перспективной работе и... нелепо потерять его в Москве! Это большая беда.

Рассказ Джабраила после смертельно опасной для него поездки в Грозный, чтобы похоронить сына в родном селе, заслуживает особого места в книге, но мне хотелось бы привести его в первой главе, чтобы читатель мог почувствовать с самого начала всю степень драматизма, переживаемую чеченцами в ситуации личного горя во время продолжающегося конфликта. Ибо даже горечь утраты сына становится политикой и актом личного мужества.

«Я не мог не похоронить его по нашим обычаям и у себя дома. Все произошло в ночь на субботу, и в госпитальном морге даже получить документы было невозможно, а ждать два дня мы не могли. Не мог я позволить и делать вскрытие: это совсем против нашего обычая. Но справки без вскрытия давать не положено. Чудом удалось договориться и забрать сына. С цинковым гробом сразу в аэропорт. До этого позвонил племяннику в Чечню, чтобы подготовили встречу. Мне ехать туда было опасно: я у них первый стою в черном списке “врагов народа”. Но и не ехать нельзя. Я бы тогда перестал себя уважать. Считал бы, что я их испугался. Ведь многие не смогли в таких ситуациях поехать. Саламбек Хаджиев в прошлом году не смог поехать, чтобы похоронить свою мать. А некоторых они возвращали прямо из аэропорта.

Вышел из самолета, а весь аэропорт полон моих людей. Человек семьдесят, и все с оружием. Сели в машины и в родное село Гехни-чу. Это примерно километров 50 от Грозного. Там наш родной дом и кладбище, где похоронены родственники и два наших умерших младенцами ребенка. Могила уже была выкопана. Такое место хорошее. Рядом дерево красивое и вид на долину. Завернули в ковер и положили в землю. А когда только засыпали, подул такой свежий ветер, и стало как-то всем легче. Как будто кто-то сверху дал команду. Пошел дождь. Спала многодневная жара.

Село наше большое, и все пришли выразить соболезнование. Уже до этого зарезали корову в жертву и мясо раздали сельчанам. Потом еще две коровы и несколько баранов зарезали для угощения. А поминки сделали в доме у брата. В нашем доме надо было наводить порядок, приносить посуду. У брата все есть. Он бы мог обидеться. Народу было за эти дни тысяч пять. Вся плоскостная Чечня собралась. Это была своеобразная демонстрация поддержки моей политической позиции.

Как только так быстро узнали? Некоторые приехали, потому что не верили, что Джабраил Гакаев в Чечне. Им было важно самим в этом убедиться. Все выражали соболезнования и руку пожимали даже те, кто еще некоторое время назад считал меня за “предателя”. Настроение сильно изменилось за последнее время. О чем я говорил и предупреждал, то и получилось. Война ничего, кроме беды и лишений, нашему народу не дала.

Я все три дня стоял и всех встречал у дома. Очень трудно было. Спал всего часа два. Все дни на похоронах присутствовал мой тесть – дед Меда, а при нем я садиться не могу, хотя он мне и предлагал. Потом жена, сын Заурбек и племянники остались, а я поехал назад. Опять со мною родственники и по отцовской, и по материнской линии. Некоторые воевали на стороне Дудаева, но здесь они меня были готовы защищать до последнего. Я даже себе попросил автомат. Уж если что, то я буду первым. Не смог бы пережить, чтобы из-за меня опять кто-то погибал...

Сын меня подвел: столько было вложено. Надежда была, что станет опорой, и на него другие ребята будут равняться. Но, видимо, не судьба. Хотя я ему столько раз говорил быть осторожнее, но разве все предусмотреть. Но вот смертью своей мне помог. Я теперь спокоен. Правда не на стороне этих бандитов. Им скоро с их автоматами как бы из Чечни драпать ни пришлось. Многим они опостытели. Я несколько дней назад об этом написал в газете “Труд”, которую и в Чечне получают. Но все равно поехал, чтобы выполнить свой долг перед мертвыми и живыми родственниками и доказать этим подлецам, что я выше их.

Все было сделано, как положено. Когда в Москву вернулся, столько людей пришло за эти дни. Народ наш такой: разойдутся – друг друга только ругают, а когда горе – все стараются быть вместе и поддерживать. У нас водку на похоронах не пьют, но давайте по-русскому обычаю выпьем и помянем. Только я себе коньяку немного налью, чтобы не пахло. Иначе будет неудобно».

“НЕ ТЕ ЧЕЧЕНЦЫ”

На одной из конференций, организованных Международным институтом исследований мира в Осло и Норвежским комитетом защиты прав человека, я услышал удивленную реплику по поводу выступления двух представителей Чечни: “Да это же не те чеченцы?!” Такая реакция была вызвана тем, что выступавшие чеченцы осуждали режим Дудаева и излагали не ту версию, которую большинство присутствовавших имело в своей голове и хотело еще раз услышать. Сразу же внимание всех, включая и журналистов, переключилось на третьего участника конференции из Чечни, который находился на Западе в качестве “представителя Дудаева” и уже хорошо выучил роль, которую от него ожидала аудитория.

“Те” или “не те” чеченские голоса звучат в моем повествовании? Вопрос этот не такой простой. Мои личные беседы и беседы партнеров по исследованию строились без строгой выборки и политических предпочтений. Безусловно, на мою долю больше пришлось тех, кто не воевал на стороне Дудаева и далеко не симпатизировал курсу на чеченскую независимость. В самой Чечне выбор был широким, и, к моему удовлетворению, “дудаевцев” в списке интервьюируемых оказалось достаточно. В книге есть разные чеченцы, хотя, может быть, они не представляют *всех* чеченцев, если иметь в виду некую социологическую совокупность.

Коллективный портрет информантов получился следующим: мужчин – 40, женщин – 15; старшего возраста (старше 50 лет) – 14, среднего возраста (30–49 лет) – 21, молодого возраста (до 29 лет) – 20 человек. География информаторов достаточно широкая – 18 человек из Грозного, остальные из других населенных пунктов, в том числе из горных сел. Их социальный статус можно считать примерным срезом социального состава чеченского общества. Среди них есть государственные и партийные работники, профессора-преподаватели вузов, школьные учителя, журналисты и архитекторы, врачи и медицинский персонал, коммерсанты и мелкие торговцы, рабочие и технический персонал, сельские работники (водители, механизаторы, пастухи), студенты и домохозяйки. В этом списке нет представителей дудаевского-масхадовского руководства, мулл-священнослужителей и главных военных (полевых) командиров.

Почти вся мужская молодежная группа – это активно воевавшие на чеченской стороне так называемые *боевики* (как и когда утвердился этот термин, мне не удалось выяснить). Из двадцати молодых человек только двое не участвовали в боевых действиях. Из группы среднего возраста семь мужчин – активные участники и пять – оказывавшие вспомогательные действия (“разведка”, обслуживание транспортом, другая помощь). В старшей группе воевавших нет, хотя нам известны случаи, когда воевали чеченцы и старше 60 лет. Среди боевиков есть лица, получившие звание “генерал”, т.е. командиры, члены дудаевской президентской гвардии, но большинство – рядовые бойцы. Многие имеют ранения и контузии. Женская группа – это в основном матери-домохозяйки без постоянной работы, некоторые без семьи по причине смерти супруга или не вышедшие замуж. Есть молодые, незамужние женщины.

Политические предпочтения информантов самые различные: от последовательных дудаевцев и сторонников независимости до пророссийски настроенных противников радикального сепаратизма или просто не имеющие определенных политических ориентаций. А чаще всего – это противоречивая смесь представлений и убеждений с преобладанием общего осуждения войны и ее инициаторов.

Возможно, строгая социология требует так называемой выборки, но для этнологического анализа она не столь необходима, а в условиях вооруженного конфликта просто невозможна. Встречающиеся попытки социологических опросов в Чечне, сделанные московскими и местными специалистами в период войны и после¹¹, производят слабое впечатление и их достоверность очень низкая.

Наша последняя новация состоит в построении трехуровневого текста. Помимо авторского описания и анализа в книге приводятся многочисленные и порою пространственные свидетельства информантов и жизненные истории* (своего рода антропология “прямых голо-

* В тексте выделены курсивом.

сов”, в пользу включения которых решительно высказался мой рецензент С.А. Арутюнов).

Уже после того как был написан основной текст, он был передан нескольким чеченцам, в том числе и партнерам по исследованию – Д. Гакаеву, В. Акаеву, А. Яндарову, Х. Абдуллаевой, а также Р. Калиеву, чтобы они могли не только сверить свои свидетельства и дать согласие на их публикацию, но и высказать замечания. Эти замечания обрели самостоятельный характер своим уточняющим или дискутирующим смыслом. Они были включены в книгу, составив тем самым еще один уровень изложения в форме постраничных примечаний. Тем самым текст стал сложнее по конструкции, но, на мой взгляд, интереснее с точки зрения презентации сложности проблемы и совершенствования этнографического метода.

¹ Берсанова З. Система ценностей современных чеченцев (по материалам опросов) // Чечня и Россия: Общества и государства / Ред.-сост. Д.Е. Фурман. М., 1999. С.247.

² См., например: *Lieven A. Chechnya. Tombstone of Russian Power*. New Haven; L., 1998.

³ *Gupta A., Ferguson J., eds. Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science*. Berkeley, 1997.

⁴ *Ibid.* P. 37.

⁵ Ортодоксальный взгляд на понятия “этнографическое поле” и “полевая работа” см.: *Чеснов Я.В.* Историческая этнология. М., 1998.

⁶ *Gupta A., Ferguson J.* Op. cit. P. 38–39.

⁷ *Чеснов Я.В.* Быть чеченцем: Личность и этнические идентификации народов // Чечня и Россия: Общества и государства. С. 63–101 и др. (см. библиографию).

⁸ *Gall C., de Waal Th.* Chechnya: Calamity in the Caucasus. N.Y., 1998; *Lieven A.* Op. cit. Есть скороспелые издания западных авторов, построенные только на газетных источниках и опросах общественного мнения. См.: *Dunlop J.B.* Russia Confronts Chechnya. Roots of a Separatist Conflict. Cambridge, 1998.

⁹ См.: *Khazanov A.* After the USSR Ethnicity, Nationalism, and Politics in the Commonwealth of Independent States. Michigan, 1996. P. 222.

¹⁰ См. пропагандистское издание МВД РФ: Криминальный режим. Чечня, 1991–1995 гг. Факты, документы, свидетельства. М., 1995.

¹¹ См.: *Скакунов Э.И.* и др. Чеченский конфликт. М., 1996; Ойла. Журнал социальных наук и публицистики. 1998. № 1. С.86–89.

Глава II

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ТЕОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современной литературе существует большое число работ, в которых с разных дисциплинарных позиций рассматриваются ситуации вооруженных сепаратистских конфликтов в тех или иных государствах и регионах мира, а также обзоры литературы по этническим и сепаратистским конфликтам¹. Ряд интересных монографий и коллективных трудов, не говоря о многочисленных статьях, опубликован по войне в бывшей Югославии². Неправительственная организация “Европейская платформа по предотвращению конфликтов” готовит обзоры по конфликтам в основных регионах мира и издала обстоятельный том по 31 конфликту в африканских странах³, а в настоящий момент завершает том по Европейскому региону. “Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения” (EAWARN) с 1998 г. публикует ежегодные доклады о состоянии межэтнических отношений и конфликтов в постсоветских государствах. Еще одна экспертная сеть “Инициатива по разрешению конфликтов и проблемам этничности” (INCORE) с 1998 г. издает регулярный журнал “Этнический конфликт. Дайджест исследований” (“Ethnic Conflict. Research Digest”), публикующий рецензии на выходящие в данной области книги и доклады.

В 1995–1999 гг. Исследовательским институтом по социальному развитию при ООН (United Nations Research Institute for Social Development – UNRISD) осуществлялся масштабный проект по изучению обществ в состоянии вооруженных конфликтов. Эта работа была ближе всего к моим исследовательским интересам, но она, к сожалению, дала скромные результаты по причине слабого академического обеспечения⁴. Проект по проблемам постконфликтной реконструкции разрабатывается Женевским Центром прикладных исследований в области международных переговоров (CASIN), который провел специальный симпозиум в ноябре 2000 г. в рамках Женевского форума по безопасности и опубликовал мой доклад “Понимание насилия для постконфликтной реконструкции в Чечне”⁵.

В отечественной российской литературе имеются серьезные работы по отдельным конфликтам, а также издания обзорного

характера, выполненные главным образом политологами и социологами, которые в последние годы избрали данную тему приоритетным направлением и даже сконструировали новую дисциплину – так называемую *конфликтологию*, т.е. науку о конфликтах и их разрешении⁶. Что касается анализа чеченского конфликта, то наиболее обстоятельный историко-политологический анализ был дан Джабраилом Гакаевым⁷. Изданы многочисленные хроники и публицистические произведения, но научная ценность их невелика.

Несмотря на серьезное продвижение в понимании данной проблематики, есть два аспекта, которые вызывают неудовлетворенность. Прежде всего это недостаточное участие социально-культурных антропологов в изучении феномена вооруженных конфликтов (особенно по региону бывшего СССР). Многие десятилетия мировая антропология продолжала быть вовлеченной преимущественно в историко-археолого-этнографические реконструкции форм военной деятельности и современной практики насилия в так называемых племенных сообществах⁸. Только в самые последние годы вышли замечательные исследования по антропологии насилия, современным конфликтам и культурно-антропологическим аспектам проблем международной безопасности⁹.

В целом нынешняя ситуация радикально отличается от первой половины 1980-х годов, когда по инициативе Мэри Фостер и Роберта Рубинштейна на Всемирном конгрессе антропологов и этнологов в Ванкувере в 1983 г. была учреждена специальная Международная комиссия по изучению проблем мира, одним из сопредседателей которой я стал с момента ее создания. Это еще были времена генсека К.У. Черненко. Мой плохой доклад в Ванкувере с цитатами из партийных документов не был опубликован, но другие и последующие материалы комиссии вышли в свет в очень достойной форме¹⁰. И все же некоторые фундаментальные проблемы теории насилия и конфликтов еще ждут своего разрешения на основе этнографического метода и с позиций социально-культурной антропологии¹¹.

Второй аспект – отсутствие убедительных теоретических концептов или вообще игнорирование социальной теории, как это имело место с проектом UNRISD, где упор делался не на науку, а на “участие”. Таким образом, современная обществоведческая мысль остается в рамках схоластичных метатеорий и популярных методологий, которые доминируют в исследованиях по проблемам мира и конфликтов. Почти все они слабо работают на уровне конкретного анализа и скорее служат политическим целям и амбициям глобальной теоретической схоластики¹². Рассмотрим некоторые из них.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ И МЕТАПРОЕКТЫ

То, что мы часто называем *теориями*, таковыми на самом деле не являются. Порой это слово выступает лишь как дополнительный усилитель той или иной научной презентации. Такое явление распространено как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Например, известные американские ученые Ион Ластик и Дэвид Лэйтин, работы которых я часто использую, определяют свои научные изыскания и выводы как “теории” (в первом случае речь идет об идентичности как о легитимной основе государства с оспариваемыми границами¹³, во втором – о трансформации идентичностей среди русскоязычного населения ближнего зарубежья¹⁴). Зато другие не менее глубокие теоретики в сходной по тематике области, как, например, Роджерс Брубейкер и Рональд Суни, данной категоризацией собственных академических презентаций фактически не пользуются¹⁵.

Под редакцией известного российского социолога А.Г. Здравомыслова опубликована книга “Релятивистская теория нации”¹⁶, содержание которой до теории не дотягивает даже в смысле изложения стандартных релятивистских подходов. В то же время, если придерживаться минимальных требований в отношении понятия *теория* и трактовать его как обоснование научных положений, выдвигаемых для объяснения фактов, событий и явлений, тогда проблема с данным словоупотреблением отчасти снимается, что не освобождает от необходимости критического анализа того, что называется подходом или теорией. Рассмотрим некоторые из теоретических концептов в области анализа конфликтов.

Теория базовых человеческих потребностей (basic human needs theory) является одной из наиболее популярных. Она носит скорее мифопоэтический характер, ибо исходит из постулата, что глубоко укоренившийся социальный конфликт возникает как следствие неудовлетворенных основных (базовых) потребностей и задачей разрешения конфликта является развитие методов их понимания и удовлетворения. В начале 1990-х годов эту теорию активно продвигал американский ученый Джон Бертон и его последователи¹⁷, а сейчас ее разделяют многие российские специалисты. Фундаментальная слабость такого подхода, на мой взгляд, заключается в том, что он исходит из факта безусловного существования групп (прежде всего этнических) как коллективных тел, которые обладают некими прирожденными потребностями, как-то стремление к сохранению своей целостности, к политическому самоопределению и прочее. Отсюда следует провоцирующий вывод, что «люди будут стремиться удовлетворить свои потребности тем или иным путем, даже не останавливаясь перед тем, что другие будут относиться к ним как к “преступникам” (или “террористам”»¹⁸.

Онтологизация этнической группы, а тем паче наличия у нее коллективной воли по поводу “потребностей” и даже самих потреб-

ностей игнорирует более современный взгляд на конструктивистскую природу этничности и социальной коллективности, не говоря уже о самих потребностях, как на результат ощущения, объяснения и даже внешнего предписания, что есть “потребность”. Этот подход не объясняет, почему инициаторами насилия, а также в ситуации разрушительного конфликта оказываются чаще представители группы с относительно высоким уровнем обеспечения “базовых потребностей”, тогда как лишенные многих возможностей и имеющие явно низкий статус могут не воспринимать его таковым и не выступать за изменение статус-кво; почему относительно благополучные сообщества бывших Нагорно-Карабахской, Абхазской, Юго-Осетинской, Чечено-Ингушской автономных республик оказались в глубоком конфликте и почему абхазы, карабахские армяне, южные осетины, чеченцы, состояние “потребностей” которых было сходным с положением представителей десятков других этнических меньшинств бывшего СССР, выступили инициаторами бескомпромиссной вооруженной сецессии*.

Но самое уязвимое в данном подходе то, что его последователи видят путь к разрешению конфликта только в полном удовлетворении “базовых человеческих потребностей”, что, по их мнению, способно согласовать интересы и привести к разрешению противоречия, спорных вопросов и установить новые отношения между противниками. При всем желании нам не удалось выявить какие-либо единые базовые потребности у узкой группы чеченской элиты, расовавшей свои деньги и деньги родных по дальним странам; у боевиков, фанатично сражающихся за несколько сот долларов и под влиянием смутных идей, и у значительной части населения, лишившегося элементарных источников жизни. Тем более наивными и надуманными выглядят некогда элегантно изложенные сначала Роджером Фишером¹⁹, а затем многими его последователями “одинадцать человеческих характеристик, являющихся универсальными и не зависящими от специфики определенной культуры, общества или политической системы, представляющих существенные составляющие общечеловеческого опыта”²⁰.

Это как бы и должен быть реестр “базовых потребностей”, но только его явная книжность разбивается об одно единственное замечание моего коллеги Веналия Амелина, который уже целый ряд лет отвечает в Администрации Оренбургской области за политику в об-

* Мой кросс-рецензент Джабраил Гакаев заметил, что благополучие советской Чечено-Ингушетии было внешним, а контрасты социальной жизни в Чечне более глубокими, чем в других регионах страны, и именно это обстоятельство было одной из причин конфликта. Данное замечание я намерен обсудить ниже, но сама ссылка на приниженное положение чеченцев и их дискриминацию является почти всеобщей в литературе о чеченском кризисе. Разница лишь в степени оценок: от “этноцида” и “народоубийства” до трудовой дискриминации и аккультурации.

ласти межэтнических отношений и очень много сделал для развития и поддержки культурного многообразия и политического представительства меньшинств в данном регионе: “Понимаете, Валерий Александрович, чем больше мы делаем и чем больше даем, тем больше требуют. До этого не знали национально-культурной автономии и все было тихо, а сейчас дай все – от зданий до компьютеров”. Таким образом, “потребности” нужно не только объявить (например, через закон) и объяснить (через собрания и печатные тексты), но и нужна разрешительная среда (прежде всего политические условия), чтобы о потребностях заявить.

В подтверждение приведу еще один пример из своего опыта министерской работы. Моя инициатива реабилитации национально-культурной автономии (наряду с этнотерриториальной автономией) в 1992 г. встретила ожесточенное сопротивление как со стороны ортодоксов “национального вопроса” (тогдашний председатель Палаты национальностей Верховного Совета РФ Рамазан Абдулатипов), так и радикальных демократов (советник президента РФ Г.В. Старовойтова). Последняя как раз в этом вопросе занимала также ортодоксальную позицию “национального самоопределения”. Так, в итоге “базовая потребность” в национально-культурной автономии отложились на несколько лет, пока не пришло время принятия соответствующего федерального закона в 1996 г.

В равной мере неубедительно объяснение и не менее популярной *теории групп меньшинств в состоянии риска*, на основе которой определяются “меньшинства в состоянии риска” (minorities at risk) как источник нестабильности, конфликта и международной или национальной озабоченности. Естественно, когда группой американских исследователей под руководством Теда Гурра составлялась мировая номенклатура таких меньшинств (233 группы), да еще по впечатляющему количеству “объективных параметров” (96 показателей)²¹, ее авторы даже не ведали о существовании таких групп, как чеченцы, абхазы или карабахские армяне. Но даже если бы им было известно о них, едва ли они попали бы в этот список, ибо политическая повестка до 1991 г. диктовала включить в него грузин, украинцев, эстонцев – группы на самом деле с благополучным культурным статусом и с далеко не худшим социальным положением как по меркам СССР, так и по мировым стандартам, а также других, более политически корректных клиентов на международную защиту и, возможно, на сецессию.

Эта так называемая теория слаба тем, что “группа риска” в конечном итоге отбирается не беспристрастным компьютерным анализом, а заложенными в машину предпочтениями исследователя, зависящими от горизонта его знаний и политических взглядов. Не прошло и пяти лет, как весь мировой список меньшинств в состоянии риска оказался курьезом. Кстати, при желании в этот список можно было включить любую этническую единицу на территории бывше-

го СССР, начиная с русских, не говоря уже о сотнях этнических групп в странах Азии, Африки и Америки.

Дело в том, что при всем разнообразии статусов групп и наличии среди значительной их части серьезных социально-политических и историко-культурных проблем конфликт происходит по другим причинам. Дебаты о ситуации риска – это не более чем предписания и аргументы для постфактических рационализаций, объясняющих уже произошедший конфликт. Самое несостоятельное в теории “группового” риска то, что она не признает право на риск за группами большинства, отдавая безраздельно это право меньшинствам, в то время как последние тоже могут и выступают инициаторами насилия и дестабилизации.

Кстати, и теория базовых потребностей фактически не признает таковые потребности за группами большинства, тем самым обнажая свою ограниченную политизированную сущность. Априори как бы имеется в виду, что “базовые человеческие потребности” у украинцев, татар, чеченцев и других меньшинств в России есть, а у русских их быть не должно, ибо они изначально как доминирующая группа занимаются только тем, что отбирают или присваивают “потребности” других. В равной мере озабоченность и страхи по поводу базовых потребностей у косовских албанцев есть, а у сербов (про цыган вообще забыли!) их быть не должно. Но тогда почему считают оправданным беспокойство турок в отношении курдского сепаратизма или протестантской части населения Северной Ирландии?

Амбициозные исследовательские проекты с глобальными выводами, особенно в сфере анализа международных отношений и конфликтов, достаточно легко “продать” потенциальным донорам и потребителям, многие из которых также имеют обширные (не только экономические или политические) интересы. Именно по этой причине, на наш взгляд, произошла эволюция методологии риска, отвечавшая потребностям глобальных дебатов прошлого десятилетия о правах меньшинств, в проект *государственного коллапса* (state failure project), т.е. всеохватывающей инвентаризации государств на предмет их возможного краха или распада. Это был ответ западного (точнее американского) исследовательского сообщества на распространявшуюся среди бюрократии и экспертов эйфорию либеральной победы и геополитической спешки “переделать” или “досмоопределить” посткоммунистический мир. В неофициальном разговоре после распада СССР одна из руководителей Госдепартамента США, в то время проректор Стэнфордского университета, хвастливо заметила: “Мы это задумали, и мы это осуществили”. Сейчас этот эксперт-политик в еще более высоком ранге получила возможность для попыток нового геополитического дизайна, о котором можно прочесть в одной из ее предшествовавших новому назначению статей²².

После распада СССР для многих политиков и экспертов появилась интригующая возможность высказаться по поводу “нового порядка”. “Пришло время изменить Америку и всю остальную человеческую расу”, – заявил в 1994 г. в победной речи после выборов в Конгресс США лидер республиканцев Нют Гиндрич. Именно тогда по заказу вице-президента Эль Гора и на средства ЦРУ США был выполнен крупный исследовательский проект, когда 2 млн единиц информации о 113 случаях “государственного коллапса” по 75 переменным и за 40-летний период (1955–1994) были подвергнуты анализу, чтобы в итоге составить список государств с высокой, средней или низкой “степенью риска распада”²³.

Этот проект, особенно окончательный список государств, носил закрытый характер, хотя некоторые его результаты все-таки были опубликованы. Интерес представляет выделение четырех важнейших факторов, которые чаще всего оказываются связанными с крахом государственного режима или сигнализируют о возможности его тотальной дестабилизации и даже распада. К ним относятся: отсутствие демократии, крупная внешняя задолженность, высокая детская смертность, значительный процент молодежи среди населения. По некоторым сведениям, Россия была зачислена в список государств с высоким риском распада, добавив тем самым энтузиазма тем, кто видел в событиях типа кризиса в Чечне как бы подтверждение академических предсказаний.

Именно в этом предписывающем характере подобных научных проектов видится их политическая заангажированность и даже несостоятельность. Совсем неважно, что подобные прогнозы распада государств могут не реализоваться. Важно другое – вложение в эти проекты влиятельными ведомствами определенных интеллектуальных и материальных ресурсов. Привлеченные специалисты, а также клиенты на потребление результатов исследований (последние определены как “разведывательное сообщество, правительство, политики, ученые”) становятся невольными заложниками сделанных прогнозов и готовы трудиться в пользу их осуществления, а не наоборот.

Именно с этих стартовых моментов и именно таким образом война в Чечне с самого начала приобрела мощных внешних акторов (под этим термином имеются в виду действующие в социальном пространстве лица или коллективные силы). Не случайно в кабинетах некоторых чиновников Госдепартамента США и еврочиновников появились портреты Джохара Дудаева, а не Абдуллы Оджалана или Усама Бен Ладена.

ЧЕЧНЯ И КОНЦЕПЦИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте моего исследования наиболее сложной для оценки является концепция самоопределения, которая преимущественно находится в сфере политической теории и права, особенно международного. Ее суть и исторический генезис достаточно хорошо известны, они вытекают из вильсоновского понимания самоопределения как управления с согласия большинства народа²⁴. Эта доктрина с момента возникновения служила формой волеизъявления победителями своих целей в военных и политико-идеологических глобальных противостояниях XX в. Она никогда не применялась ее духовными отцами и политическими инициаторами в отношении собственных реалий и всегда была ориентирована на внешнее потребление. Новый всплеск интереса к доктрине возник в связи с радикальным переустройством посткоммунистического мира и прежде всего в связи с распадом таких государств, как СССР, Югославия и Чехословакия.

Риторика самоопределения была и остается основным эмоциональным и политическим аргументом процессов дезинтеграции и насильственных конфликтов. Посткоммунистическая инженерия, особенно со стороны победителя – либерального Запада, с энтузиазмом обратилась к теме самоопределения. Многие специалисты, прежде всего бывшие советологи, призвали к пересмотру и модернизации принципа самоопределения в контексте новой геополитической ситуации. Причем в силу явной идеологической заангажированности борцов против последней империи (имеется в виду СССР) и “мини-империи” (имеется в виду Россия) коррекция и пересмотр пошли не в сторону снятия прошлых фундаментальных противоречий в доктрине, а в сторону их еще большей легитимации. Активное участие в этом приняли и российские эксперты, также в подавляющем своем большинстве мыслящие в пределах ущербного советского варианта доктрины самоопределения как огосударствления этнических общностей (этнонаций)²⁵.

Тем не менее наиболее обстоятельные исследования так называемой коллизии между правом на самоопределение и принципом территориальной целостности государства, а также соотношения самоопределения и прав меньшинств не привели к каким-либо серьезным переоценкам в последнее десятилетие. Автор одной из самых последних работ по проблеме самоопределения и национальных меньшинств, признавая разные смыслы и интерпретации, которые вкладываются в данное понятие в странах Запада, бывшего советского блока и в странах так называемого третьего мира, все же делает следующий итоговый вывод:

«Насколько самоопределение представляет собою законное право, до сих пор точно не установлено, поскольку содержание термина “народ” никогда не было точно определено и поскольку сама международная практи-

ка в отношении самоопределения является во многом непоследовательной. Хотя деколонизация была всеобщее признана в качестве составляющей части законного самоопределения, правовой статус других аспектов самоопределения остается неясным. Теория, что самоопределение влечет за собой представительное правление, широко признается западными государствами и большинством стран бывшего советского блока. Однако такое понимание самоопределения не принимается в качестве элемента международного права многими государствами третьего мира. Еще более неясным является статус этнического самоопределения. Хотя многие этнические группы в мире считают его для себя законным правом, этого не признает большинство государств. Этническое самоопределение не вписывается в систему международного права... Примат государства в международном праве означает, что все население государства рассматривается как основной атрибут этого государства. Традиционный примат государства в международном праве находится поэтому в фундаментальном противоречии с требованиями выступающих за самоопределение этнических групп, потому что по сути такие группы стремятся подчинить позицию государства позиции группы»²⁶.

У меня всегда вызывало удивление, как однозначно и жестко советский и постсоветский менталитет связывал право на “национальное самоопределение народов” с этническим смыслом. Хотя это удивление мне не к лицу, ибо под моей редакцией вышли фундаментальные энциклопедии “Народы России” (1994) и “Народы и религии мира” (1998), дополнительно подтверждая тем самым этнический смысл понятия “народ”. Научно точнее было бы использовать термин “этнические группы”, а не “народы”, но такова отечественная традиция академического и общественно-политического языка. Мне же хорошо запомнились еще со времен моих занятий Канадой в 1970–1980 гг. слова Пьера Трюдо: «Государство, которое определяет свою деятельность преимущественно в понятиях этнических и религиозных характеристик, неизбежно становится шовинистическим и нетерпимым. Националисты – политические реакционеры, поскольку они руководствуются при определении общего блага интересом этнической группы или религиозного идеала, а не понятием “всего народа” независимо от индивидуальных характеристик»²⁷.

Абсолютно точно сказал в своем программном документе бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали: “Мир не может позволить себе роскоши, чтобы каждая культурно отличительная группа имела свое собственное государство, и это в принципе неосуществимо»²⁸.

В случае с Чечней риторика самоопределения пронизывает все ментальное пространство: от главного аргумента лидеров чеченского сопротивления до языка простого чеченца. Но, как показывает наш материал, смысл этого слова и его использование чаще находятся в конфликте с непоследовательными интерпретациями политиков и ученых. Интерпретация чеченского кризиса как проявление национально-освободительного движения чеченского народа и как

попытка его подавления имперскими силами была и остается популярной среди части российских и подавляющего большинства зарубежных экспертов.

За незначительным исключением, все работы по истории “чеченской революции” и войны в Чечне построены на основе холистских категорий “народ”, “свобода”, “суверенитет”, “государство”, “религия” и т.п., а также на выяснении фундаментальных “исторических закономерностей”. Л.С. Перепелкин одним из первых пришел к выводу, “что своеобразный ход современного политического развития Чеченской республики предопределен уникальной комбинацией исторических, социально-экономических, этнических, демографических, психологических и иных факторов, в силу исторической случайности сконцентрированных на территории именно этой небольшой республики”²⁹. Н.В. Петров вместе с соавторами, анализируя ход войны в Чечне, так же в сугубо геополитических категориях выносят безоговорочное суждение, что “выход Чечни из России теперь уже неизбежен при любом развитии событий”, ибо “чеченский народ кровью заплатил за свою свободу”³⁰.

Эмоциональную и политическую заангажированность при оценке событий в Чечне продемонстрировали западные эксперты, в среде которых прочеченская позиция соединилась с неожиданно сильным рецидивом антирусских и антироссийских (кстати, в англоязычной литературе различие этих двух понятий вообще отсутствует) позиций. Комплиментарность в оценке сепаратизма в России была и остается свойственной бывшим приверженцам холодной войны, которые продолжают по инерции бороться с “империей зла”. Об этом свидетельствует, например, доклад, подготовленный по итогам миссии, направленной в Чечню неправительственной организацией “Международная тревога” осенью 1992 г. Его основным автором был давний сотрудник Корпорации РЭНД (США) Пол Хенце.

Главное содержание доклада – история чеченского и в целом северокавказского “освободительного движения против российской колонизации” и демонстрация радикальной культурной отличительности чеченцев и их исключительной внутренней солидарности в вопросе достижения государственной независимости. Многое в этой интерпретации идет от западной историографической традиции исламоведения в России, которая была заложена историком российского происхождения Александром Бенигсеном³¹. Основной вывод доклада – предостережение против попыток решить конфликт силовыми методами, но его общий тон был безоговорочно в пользу чеченской независимости как состоявшегося факта. Для таких западных экспертов, как Пол Хенце, не говоря о многочисленных версиях журналистов, не было никаких сомнений, что в 1991 г. в Чечне под руководством Дудаева произошла народная демократическая революция против имперского центра и местной номенклатуры. Война 1994–1995 гг. – ответ неоимперской России.

Для авторов доклада Чечня и даже весь Северный Кавказ – это не Россия и даже не территория Российской Федерации. Приведем итоговое заключение документа, который для чеченских радикалов стал своего рода моральным благословением сецессии:

«Чеченская республика совершила впечатляющие начальные шаги по созданию государственных и правительственных структур. Чеченское общество характеризуется примечательной степенью политической открытости и свободы выражения. Все партии несут ответственность за сохранение этой благоприятной ситуации. В некоторых отношениях по причине временной краткости своей эволюции политическая система не всегда работает гладко. Ответственные граждане постоянно поднимают оправданные вопросы о правомочности выборов, открытости правительства, отношениях Чечни с соседями. Руководству необходимо найти пути, как реагировать на эти озабоченности.

Чечня не может решить проблему своего статуса и отношений с Россией и другими частями бывшего Советского Союза путем силы. Россия не может “решить” свою чеченскую проблему или связанные с ней более широкие проблемы стабилизации и конструктивной политической эволюции на Кавказе путем политической интриги или подрывных действий, или экономическими санкциями. Российское правительство несет ответственность за информированность своего народа о подлинной природе кавказских проблем и тех реалистических выборах, которые перед ней стоят в этой связи. Чтобы приостановить дальнейшее ухудшение ситуации и избежать больших человеческих страданий, необходимы для всех сторон терпение и желание вести переговоры»³².

Случаи переоценочной рефлексии крайне редки среди сторонников радикально-демократических или антиимперских интерпретаций. Наиболее очевидно такую критическую переоценку продемонстрировал известный российский политолог Игорь Клямкин, задавшийся вопросом о причине утверждения Дудаева в Чечне главным образом силами московских политиков:

«Думается, дело тут не в личности самой по себе, а в той идее, которую олицетворял мятежный генерал и в соответствии с которой и лепился его героический образ. Речь идет об идее “национально-освободительного” (т.е. сепаратистского) движения нерусских народов как якобы естественной и неизбежной формы реализации их демократических устремлений. С момента зарождения первых “национальных фронтов” в республиках СССР идея эта оказалась столь популярна среди российских демократов, что как-то само собой повелось не замечать больших и малых грешков националистов, прощать им сперва тихое беззаконие, а потом и открытое насилие.

Несомненно, в “перестроечную” эпоху борьбы с еще живым советским коммунизмом демократические движения действительно нередко развивались в оболочке этнонациональных. Но после падения коммунизма и распада СССР, когда бывшие союзные республики сами оказались в роли метрополий и эстафета “национально-освободительной борьбы” перешла от них к их же автономиям, сущность сепаратизма предстала в своей первозданной наготе. И надо было быть слепым или политически очень ангажированным человеком, чтобы за призывами к “борьбе за самоопределение коренных

народов” не увидеть элементарного стремления освободившихся от московской длани местных вождей “оседлать” комплекс национальной ущемленности этнических меньшинств в своих целях, далеких от интересов демократии и национального возрождения. Примерами подобной политической слепоты пестрит вся история постсоветского либерализма»³³.

ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ

Мною выделен еще один вариант подхода к объяснению природы конфликта в Чечне, который можно назвать *цивилизационно-этнографическим романтизмом*. Его заимствуют некоторые ученые, многие публицисты и часто политики. Изначальная суть этого подхода или в “конфликте цивилизаций”, исламской и христианской (с подсказки уязвимой конструкции Сэмюэля Хантингтона), или в несовместимости этнических систем и непонимании российскими политиками глубинной специфики чеченского общества. Как объясняет ситуацию один из ведущих специалистов-востоковедов, Алексей Малащенко, «у чеченцев свой образ жизни и мыслей, свои представления о нормах поведения, своя вера. Там сложилась специфическая система общественного устройства, названная этнологом Я. Чесновым “вайнахской демократией”... В плане историко-философском противостояние двух социокультурных систем, их взаимное и постоянное отторжение неизбежно. Не было мира в Чечне ни при одной из политических систем... Чечня, похоже, всегда будет разительно отличаться от Смоленской области или Приморского края. И поэтому когда-нибудь она обретет свою независимость, и, дай Бог, чтобы на границах у России было одним дружественным государством больше»³⁴.

Что же касается этнолога Я. Чеснова, то его версия современного чеченского общества как общества, основанного на глубоко традиционных социальных структурах, представляет собой распространенный в этнографии пример конструирования культурного комплекса профессионалом, для которого исследование – это главным образом сочиняемый исторический экскурс о том, как “трудно быть чеченцем” под бременем тейповых коалиций и эгалитаристской этики личностных отношений³⁵.

Определенный элемент абсолютизации традиции вайнахской военной демократии при объяснении высокой степени мобилизации чеченцев в конфликте присутствует и в оценках ведущего специалиста по проблемам Кавказа С. А. Арутюнова. “Процессы, с которыми мы сталкиваемся, на самом деле носят куда более глубокий характер. В регионе полным ходом идет возрождение дремавших до времени форм раннефеодального и предфеодального бытия”³⁶, – пишет ученый. Однако, безусловно, вышеназванные авторы внесли серьезный вклад в интеллектуальные усилия ученых по объяснению чеченского кризиса.

То, что я называю этнографическим романтизмом, имеет гораздо более глубокую природу и степень воздействия, чем это может казаться. Чеченский кризис породил или актуализировал богатую псевдонаучную мифологию об истории и современном облике народа, который из академических и литературно-публицистических текстов перешел в массовое сознание, в том числе и самих чеченцев. Один из таких доминирующих мифов – миф об исключительном природном свободолюбии и благородстве народа, которые он демонстрирует на протяжении всей своей истории, особенно двухвековым сопротивлением русскому колониализму.

Природа этого мифа носит во многом литературный характер, и среди его главных авторов – всемирно известный писатель Л. Н. Толстой, для которого повесть “Хаджи Мурат” была своего рода личным искушительным актом и реализацией творческой темы обличения самодержавного деспотизма. Создавая “образ другого” в лице полного благородства и доблестей чеченца Хаджи-Мурата, писатель фактически писал о проблемах российского общества и о постоянном поиске человеческого идеала среди “мерзостей обыденной жизни”. Но своим мощным пером Толстой подарил “образ народа” современному читающему поколению чеченцев, который в какой-то степени со временем стал частью его массового сознания.

В сочинениях академических романтиков постоянно присутствуют рассуждения о “невозможности горца быть без оружия”, о “национальной чеченской культуре военных действий”, об отсутствии традиции подчинения властям и писаному закону, о решающей роли старейшин и т.п.

Другой усиленно насаждаемый миф – это миф об исключительной древности чеченского народа, который черпает свои аргументы из историко-лингвистических изысканий московских и петербургских (а за ними и местных) ученых о родстве с современными вайнахскими языками хурритоурартских языков, распространенных во 2–1 тысячелетиях до н.э. в Закавказье, восточной Малой Азии и северной Месопотамии³⁷. Именно ссылаясь на этот чисто академический постулат, президент Джохар Дудаев сформулировал политический лозунг, который гласил: чеченцы как “старейший народ Кавказа” должны по праву играть роль общекавказского лидера.

Если абстрагироваться от политико-идеологической мотивации, во всех этих интерпретациях присутствует ограниченность объективистской методологии, предпочитающей доискиваться в социальном процессе (или в событийном ряде) до неких глубинных причин и исторических закономерностей. Такой подход игнорирует объяснение, основанное на современной частной стратегии и личностной мотивации, на роли постоянно меняющихся диспозиций участников социального пространства, в том числе в сфере властных взаимоотношений, и, наконец, на роли случайных, эмоционально субъективных и моральных побуждений и действий. Крупное социальное со-

бытие, а тем более масштабный военный конфликт представляются слишком серьезным явлением, чтобы объяснять его происхождение казалось бы поверхностными обстоятельствами, как, например, личностные амбиции лидеров или моральные установки на реванш после пережитой коллективной травмы.

Сегодня уже неприлично заниматься критикой хантингтоновской теории столкновения цивилизаций по причине изначальной неясности, что есть цивилизация, и политической заданности данного концепта. Суть этой теории состоит в том, что после одной “большой битвы” должна обязательно следовать другая и ныне наступила эпоха защищать Запад от “враждебных цивилизаций” (прежде всего от исламской и, возможно, православной).

Казалось бы, в случае с Чечней цивилизационный разлом налицо: православные русские против чеченцев-мусульман. Однако мой анализ не позволяет принять данную схему даже в ее самом слабом варианте. *Схожесть чеченцев с остальным населением страны, прежде всего с русскими, гораздо больше, чем их отличительность. Эта общность ценностных ориентаций, личных стратегий людей и даже культурного поведения существовала как до конфликта, так и после него.*

Конечно, война обозначила для чеченцев гораздо более жесткую дистанцию по отношению к представителям других групп и укрепила ощущение чеченской отличительности не только на уровне самосознания. Однако невозможно согласиться с тезисом, что мои партнеры и герои интервью принадлежат к иной цивилизации. Полевые материалы не дают оснований для этого. Радикальная разница жизненных ситуаций – бесспорна. Ряд важных культурно-отличительных характеристик – также налицо. Но мною обнаружено, что между московским русским профессором и профессором-чеченцем из Грозного больше близости, чем между профессором-чеченцем и чеченским боевиком из горного села, откуда родом, кстати, и сам профессор. Культурный разлом происходит в результате конфликта внутри социума, и этот разлом имеет место как между теми, кто пребывает в “разорванном обществе”, так и теми, кто вне его или на его периферии.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

В литературе о войне в Чечне имеет место позиция в духе теории заговора. Другими словами, разные действия и заявления, как с федеральной, так и с чеченской стороны, рассматриваются не более чем как камуфляж скрытых мотивов и интересов, за которыми стоят или более мощные силы, манипулирующие политиками и генералами, или вообще война видится как заговор и геополитический сценарий внешних сил.

Один из доминирующих вариантов сводится к поиску у событийной мощной экономической подоплеки или “истинных причин” войны в Чечне. Такими причинами эксперты называют чаще всего нефть и деньги. Так считает Эдвард Ожиганов, один из бывших экспертов Аналитического центра Государственной думы:

«Если взять оценку беспристрастную и непредвзятую, без оглядки на лица, то при видимой сложности все предельно просто. Сегодня существуют всего две линии вывоза стратегических товаров из России: балтийская и кавказская, проходящая в первую очередь через Чечню. За контроль над этими линиями, а точнее над самим вывозом, и происходит вся борьба. А потому какие-то смены руководителей, кадровые перестановки, конфликтные ситуации – не более чем отражение этой борьбы. Корни конфликта находятся не в Грозном, а в Москве. На балтийском направлении российская государственная мафия уже нащупала каналы вывоза товаров и сырья, и там больших проблем не возникает. В Чечне же ситуация принципиально иная. Режим Дудаева не согласился на роль “клиента”: ему куда больше импонировала роль патрона. Тем более что речь шла о деньгах поистине фантастических. “Бизнес” развивался по трем направлениям: торговля оружием, нефтепродуктами и краденными машинами. Плюс присутствовала возможность неконтролируемого вывоза из республики валюты и ее последующего размещения на счетах в иностранных банках. Поэтому в определенный момент команда Дудаева просто заявила о своем исключительном праве на все эти доходы и перекрыла “чеченский канал” для России. Этот отказ и обусловил кризис»³⁸.

Безусловно, экономический фактор, в том числе в его криминальном аспекте, играл важную роль в эволюции чеченского конфликта, и это невозможно игнорировать. Хорошо известным стало выражение заместителя Председателя Правительства РФ Сергея Шахрая о Чечне как “свободной криминальной зоне”. Из Аналитического центра при президенте вышла версия-сравнение Чечни и режима Дудаева с Медельинским картелем в Колумбии и режимом генерала Норьеги в Панаме. Ее изложили Эмиль Паин и Аркадий Попов³⁹. В ежегодном Президентском послании Федеральному собранию “криминальная” природа событий в Чечне стала уже официальной версией федеральной власти, а вернее президента и его окружения. В выступлении Б.Н. Ельцина перед Федеральным собранием сказано, что “на территории Чеченской республики в результате вооруженного мятежа был установлен самый настоящий диктаторский режим. Сращивание криминального мира и власти – то, о чем непрестанно говорили и политики, и журналисты как о главной опасности для России, – в Чечне стало реальностью. Это был полигон для подготовки и распространения криминальной власти на другие российские регионы”⁴⁰.

Почти аналогичная оценка чеченского кризиса дается представителями крайне правых националистических сил в России. 14 декабря 1994 г. Центральный совет Русского национального единства

(баркашовцы) принял заявление по событиям в Чечне, в котором содержится следующая характеристика:

“Не является секретом и то, что в результате деятельности режима Дудаева практически прекратилась любая экономическая и хозяйственная деятельность в Чечне. Следствием этого стала экспансия чеченских криминальных групп на территорию всей России, что поощряется нынешней чеченской администрацией как практически единственный приносящий доход промысел. Нынешняя администрация превратила Чечню в паразитарно-грабительский конгломерат и тем самым опустила свой народ на уровень раннего средневековья”⁴¹.

Другой подход объясняет конфликт как неудавшийся вариант блицкрига против самопровозглашенной независимой Чечни. Война была затеяна Центром, прежде всего президентом и его окружением, чтобы решить ряд политических задач, связанных с укреплением и сохранением власти в условиях углубляющегося экономического и политического кризиса в стране. Этот взгляд на чеченский кризис сложился главным образом среди политической и интеллектуальной оппозиции, причем независимо от политического спектра. Для политиков и экспертов радикально-демократического направления Чечня – это заговор “силовиков”, ближайших помощников и даже “охранников” президента с целью покончить с демократическими преобразованиями и установить авторитарный режим, основанный на “державности” и национал-патриотической идеологии. Как заявил Е.Т. Гайдар, силовое решение чеченской проблемы представляет собою практический шаг к формированию полицейского государства в России⁴².

“Руки прочь от Чечни!” был и остается лозунгом радикальной демократии, хотя аргументы последней несколько меняются: сначала на первом плане были симпатии в пользу “национального самоопределения” чеченцев, после начала войны и в период ее нового цикла с осени 1999 г. – озабоченность массовыми нарушениями прав человека, прежде всего со стороны российской армии.

Помимо историко-культурного и социально-политического планов чеченский конфликт, на наш взгляд, включает в себе решающие по значимости элементы личностного, эмоционального и морального воздействия, которые не могут быть объяснены в привычных категориях позитивистской казуальности. В качестве примера приведу лишь один пример крайне персонифицированного характера, который обрел конфликт, особенно в его решающий момент: это личное отношение президента Ельцина к Дудаеву. В одном из интервью президент Татарстана М. Ш. Шаймиев сделал, казалось бы, мелкое, но, на наш взгляд, крайне важное замечание: “Ельцин был почти готов к переговорам с Дудаевым по татарстанской модели, но тут ему передали, что Дудаев негативно о нем отзывался”. Видимо, с какого-то момента Ельцин (под безусловным влиянием помощников и некоторых членов правительства, пестующих прези-

дентское “эго”) вычеркнул Дудаева из числа тех, с кем ему возможно как-либо общаться, и возвел его в ранг главного врага после того, как остальные были сокрушены или умиротворены. Лучшее подтверждение тому – свидетельство еще одного контактирующего с президентом политика. Обозреватель “Известий” Валерий Выжutowич спросил директора ФСБ Сергея Степашина, с каким вопросом президент обращается к вам чаще всего в последнее время? Ответ: – «Чаще всего с одним и тем же: “Когда поймаете Дудаева?”»⁴³.

Именно данный аспект конфликтологического анализа был нами избран в качестве доминирующей линии при рассмотрении событийного ряда и социально-культурного контекста конфликта⁴⁴. Кроме того, войну в Чечне, особенно ее внутреннюю логику, интенсивность и драматичность, невозможно понять без рассмотрения фактора воздействия современных средств массовой информации на конфликт, ибо это была первая “телевизионная война” на территории бывшего Советского Союза. Нас интересует не столько проблема освещения конфликта в СМИ, а проблема СМИ как участников конфликта, ибо профессионалы электронных образов и газетных текстов создают версию (или версии) конфликта в рыночно-драматических формах и возвращают эти версии самим участникам, оказывая на последних не просто воздействие, но и подчиняя своим оценкам их поведение порою сильнее воинских приказов. В моем интервью с командиром “афганского батальона” Чечни, взятом 23 февраля 1995 г. на территории Ингушетии, полевой командир многократно упоминал радио и телевидение (“хотя его у нас на передовой нет”), как бы косвенно подтверждая роль СМИ в качестве активного участника происходящей драмы. Вот некоторые из его наиболее характерных заявлений:

“Даже когда Дудаев объявлял по телевизору о всеобщей воинской мобилизации, то люди сидели дома и смеялись” (это сказано в связи с тезисом федеральных властей о создании регулярной армии в Чечне. – В.Т.);

“По телевизору показывают, что бомбежки прекращены, а мы сами объезжали город и смотрели как эти точечные удары наносились по мирным людям” (в связи с недоверием сообщениям СМИ. – В.Т.);

“Вот если мне скажут политики, объявят по радио... что остановили войну, что мне нужно сдать оружие... тогда я пойду и сдам это оружие” (а это уже пример полного доверия СМИ. – В.Т.).

В современных конфликтах средства массовой информации представляют собою огромную мобилизующую и сражающуюся силу. Это такой же боевой ресурс, как танки и артиллерия, ибо с помощью телевидения и прессы достигаются такие важнейшие цели, как рекрутирование и боевой дух рядовых воинов и общественная, в том числе международная, поддержка конфликтующих сторон. В период нового цикла войны, особенно после удачной съемки подбитого вертолета российского генерала в Дагестане, чеченские командиры, по некоторым сведениям, вообще не выходили на крупные

операции без телекамеры, чтобы срочно передавать в эфир кадры очередных своих побед. После неудачного применения примитивной практики (времен второй мировой войны) разбрасывания листовок с воздуха глава российского ФСБ сделал характерное признание: «Да, информационная война российской властью проиграна. Как блистательно работает министр информации Чечни Мовлади Удугов, как искусно и ловко он запускает в прессу всякую ложь, искажения, передержки!.. А мы оттолкнули журналистов: “Никуда не пускать, ничего не давать!” Да и сам я долгое время не хотел высказываться»⁴⁵.

Специалисты уже отмечали огромную воздействующую роль СМИ в конфликтах. Особенно это было очевидным на примере Боснии, когда там начала вести репортажи для СНН одна из телезвезд горячих точек, Кристиана Аманпур, открыто солидаризировавшаяся с боснийцами-мусульманами. Ее воспламеняющие репортажи повернули в пользу Боснии не только мировое общественное мнение, но и придали мощный стимул к войне замелькавшим на собственных и на мировых экранах мусульманам Боснии.

Чем объясняется особая роль СМИ в постсоветских конфликтах? Во-первых, в бывшем СССР граждане привыкли и продолжают верить освященным авторитетом телеэкрана или газетного листа версиям событий и оценкам гораздо в большей степени, чем в граждански зрелых обществах. Во-вторых, постсоветские граждане составляют поголовно грамотное и активно читающее население и тем самым подвергаются воздействию внешних версий гораздо сильнее, чем жители таких стран, как Сомали, Мексика или Индия, где также имеют место открытые конфликты и внутренние войны. В этом отношении с бывшим СССР могут сравниться только другие бывшие социалистические страны, в том числе и Югославия, где уровень читающей и просвещенной публики высок. Наконец, в России в годы перестройки в СМИ пришло фактически новое поколение молодой и амбициозной журналистики, утверждающее себя в этой опасной и ответственной профессии, в том числе и через мотив “я и конфликт”. Общеразделяемого этического кодекса профессии применительно к освещению конфликтов и войн российская журналистика пока не имеет. Попытки установить некоторые правила можно было наблюдать в период новой военной кампании, но и они давали серьезные сбои, как, например, с журналистом “Радио Свобода” Андреем Бабицким.

Рассматривая историографический и теоретический контекст нашего исследования, мы хотели бы выделить и объяснить один из основных концептуальных тезисов данной работы, а именно идею демодернизации общества, переживающего глубокий насильственный конфликт.

ДЕМОДЕРНИЗАЦИЯ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Известные теории модернизации и постмодернизма при всем их стилевом различии исходят из общей эпистемологии поступательного развития общества и знания о нем. Рассматриваемая нами ситуация не вписывается в этот контекст. Она более напоминает состояние, определяемое в антропологии как аномия, но только это скорее внешнее сходство. *В Чечне имеют место не быстрые перемены, с которыми общество не может справиться и впадает в состояние аномии, а перемены в жанре хаоса, при которых само понятие общества исчезает.* Анализ показывает, что в период вооруженного конфликта чеченского “народа” и даже чеченского “общества” как агента социального действия не существует. Есть навязанные объяснительные версии, большинство из которых редуцировано до упрощенных лозунгов и мифов, в свою очередь создаваемых преимущественно активистами среднего уровня. Эти разные и даже несовместимые редукции подчиняют сознание населения, мотивируя личные стратегии и действия и порой уживаясь вместе в одной и той же голове.

Начиная с 1990 г. Чечня живет в противоречиях и терзаниях, в условиях глубокого разброда и деконсолидации, хотя доминирующий взгляд на Чечню строится на постулате невиданной групповой солидарности и целеустремленности, которые, якобы, продемонстрировал чеченский народ в ходе войны. Достаточно прочитать пространную книгу одного из главных идеологов чеченской сецессии Зелимхана Яндарбиева, чтобы понять, что упоминаемый на каждой странице “чеченский народ”, который “только и способен вершить крупные события и определять свой выбор”⁴⁶, это в данном случае что-то мифологическое и неопределяемое. Ибо если вычесть из “народа” всех, кого автор называет как комбюрократия, гнилая галстучно-пиджачная интеллигенция, подголоски Завгаева, служители Москвы и имперские прислужники, трусливые элементы, растерявшиеся трусы, ненадежные попутчики, провокаторы и прочее, кто не относится к вершащему историческое действие “чеченскому народу”, то остается крайне узкая группа людей, очерчиваемая понятием “мы”. Впоследствии – это просто вооруженная часть населения, которая на протяжении всей войны не превышала пяти тысяч человек и которая значительно выросла после ее окончания в 1996 г.

В ходе и в результате войны в Чечне произошло масштабное распропагандирование бытового сознания до уровня почти всеобщих мотиваций, которые в свою очередь возводились на упрощенных мифах, доставшихся от советской идеологии и частично заимствованных из арсенала “национально-освободительной” риторики внешнего мира. Поразительно оскудевший и без того небогатый багаж представлений о политической жизни и об управлении общест-

вом, о государстве и его предназначении, о сути преобразований в конечном счете свелся к одному безальтернативному варианту вооруженной борьбы. Как писал тот же Яндарбиев, “исход борьбы за независимость предreshен. Народ знает, что делает... Народ, желающий быть свободным и строить независимое государство, должен уметь действовать решительно и быть готовым к жертвам. Каждый отец, каждая мать должна быть готова, как говорится в наших эпических песнях, отдать своего сына для дела народа”⁴⁷.

При анализе конкретных жизненных историй мы не встретили ни одного случая следования этому рецепту со стороны отца или матери чеченского боевика, но безусловно сам по себе столь мощный постулат радикально сузил информационное поле и набор вариантов действий чеченцев в пользу варианта “жертвы во имя нации”. Явление, “когда люди умирают за нацию”, психолог Пол Стерн объяснил именно ограниченной информацией о доступных вариантах действий, а не неким “базовым” инстинктом или человеческой потребностью⁴⁸. Вырваться из этого состояния отдельному индивиду крайне трудно. Здесь действует не просто логика коллективного поведения, когда следование за другими сулит каждому часть общего дивиденда. В ситуации вооруженного конфликта и войны действуют предписания гораздо более мощные, в том числе и насильственное принуждение. Таким образом, важнейшим признаком состояния демодернизации можно назвать *узурпацию ментального мира упрощенными и ограниченными версиями происходящего, как в прошлом, так и в настоящем*.

Другим проявлением состояния демодернизации мы можем назвать *исход из общества альтернативных сил*, способных составить необходимую повестку дня для современной жизни этого общества и обеспечить в этой повестке такие ключевые моменты, как хозяйственное и политическое управление, образование и культурное производство, социальная забота. Такой исход имеет разные причины и разные формы, но в целом он носит наш характер неприятия или протеста. Из Чечни сначала была вынуждена уехать подавляющая часть представителей нечеченского населения, а также некоторые наиболее просвещенные и социально удачливые чеченцы. Затем вооруженный конфликт вытолкнул многих пострадавших от разрушений жителей городов и ряда сел. Но в то же время Чечню покидали и те, кто не хотел оставаться, а тем более оставлять своих детей в обществе, которое оказалось ввергнутым в разрушительный конфликт. Наконец, после войны из Чечни уехали и те, кто не мог или не хотел связывать свою жизненную стратегию с призывом строить новое чеченское государство. В итоге свыше половины населения Чечни, причем его социально продвинутой частью (прежде всего в образовательно-профессиональном смысле) покинули полуразрушенную войной республику.

В данном случае число и качество совершивших исход по отношению к общей численности населения республики обретает принципиальный характер, ибо меняет социально-культурное содержание самой группы. Вместо достаточно отчетливо осознающего и воспроизводящего свою культуру и идентичность чеченского народа, находившегося в многоэтническом окружении, мы имеем этнически гомогенное население Чечни, власть над которым узурпировала вооруженная его часть. Подобные ситуации многократно случались в истории и имеют место в ряде современных глубоких конфликтов, но только они никогда не рассматривались в контексте идеи демодернизации.

Демодернизация означает такое радикальное изменение социальных связей и институтов, при котором утрачивается казало бы всеобщая способность человеческих коллективов к самоорганизации. Это, конечно, не означает полный социальный хаос, ибо общество сохраняет такие основополагающие институты, как, например, семья и даже управление на уровне местных общин. Хотя последние также подвергаются мощной эрозии. Семья и семейные связи оказываются разрушенными, сложившиеся нормы отношений меняются, мораль и психологический климат диктуются переживаемыми травмами и непереживаемыми до этого жизненными проблемами. В управление на уровне малых территориальных сообществ, помимо избранных авторитетов или назначаемых лидеров, вторгаются самозванцы, диктующие волю остальным с помощью автомата Калашникова. Власть на более высоком уровне также базируется не на политическом процессе отбора и легитимации лидеров, а на вооруженной силе.

Особенно характерно появление лжекоалиций и мифических социальных структур как возможное спасение от хаоса или как средство нового контроля и социальной стратегии в ситуации глубокого конфликта. Такими лжекоалициями (т.е. вызванными войной и только ей) в Чечне стали не только объединения по принципу “зон командования” и “военных фронтов”, или партии ветеранов-комбатантов, но даже и те, что камуфлируются под традиционную форму клановых (тейповых) коалиций. Наш анализ показал, что вооруженные группировки – это крайне эфемерные коалиции, а солидарность боевиков не распространяется дальше преданности членам микрогрупп – обычно выходцев из одного села, над которыми может быть “городской” командир. Что касается тейпов, то за этой метафорой в каждом конкретном случае легче и определеннее вычлениваются или расширенные родственные связи, или солидарность по местности происхождения и проживания, или же комбинация первого и второго.

Чеченское общество в период конфликта отличает еще одна черта – *уход в прошлое для обоснования (аргументации) современной жизни и действий, а также пародирование (копирование) заим-*

ствованных (чужих) проектов. Фактически вся аргументация чеченского сопротивления (или чеченской революции) была построена на драматической презентации прошлого, а именно, Кавказской войны XIX в. и коллективной травмы сталинской депортации. Поиск в прошлом якобы утраченной нормы (своего рода идеального, несуществовавшего чеченского общества) сохраняется как главная тема элитных дебатов и в послевоенной Чечне. Местные газеты в 1996–1999 гг. были заполнены на 70–80% статьями историков, фольклористов, археологов или журналистско-публицистическими очерками на эту тему.

Что касается внешних заимствований, то они также сопровождали чеченское общество до, во время и после войны. Сначала переписывались тексты документов литовского Сайюдиса и эстонского Народного фронта для составления собственных политических платформ. Затем копировались действия и атрибутика вооруженных комбатантов из других исламских регионов мира и не только из них. Наконец, был заимствован Суданский кодекс шариатского правления для утверждения сходной модели в самой Чечне.

Подобные явления характеризуют недостаток собственной компетенции общества, пожелавшего выйти из существующей системы, что само по себе распространено в период радикальных трансформаций. *Демодернизацией можно назвать ту часть заимствований, которая явно не соответствует принятым в данном обществе и разделяемым его населением на протяжении длительного периода нормам и ценностям.* Общими для Чечни являются европейские нормы, даже при том, что они утвердились в деформированных советским режимом формах и сосуществовали с так называемыми традиционными институтами и ценностями. Хотя, как отметили Джабраил Гакаев и Сергей Арутюнов, чеченское общество заключало в себе и изрядную долю ценностей, условно называемых “азиатскими”, если к таковым относить прежде всего нормы и обычаи, связанные с исламом.

Но главная проблема обращения к прошлым нормам и к заимствованиям – это отказ обществу в собственном творчестве и в тех инновациях, которые порождены прежде всего местной спецификой. Состояние конфликтной демодернизации – *следствие того, что хотя общество и может преодолеть кризис, но оно неспособно это сделать без внешнего содействия.* Это, например, касается системы жизнеобеспечения, поскольку в результате войны формальная экономика оказывается разрушенной, и люди из нее уходят ради обеспечения личного выживания. Такой вариант наблюдается почти во всех вооруженных конфликтах⁴⁹, и Чечня не является исключением.

Еще одна черта демодернизации – *состояние апатии и пренебрежения к человеческой жизни и к общеразделяемым жизненным нормам.* Безысходность как доминирующий мотив настроений

встречается достаточно широко в постконфликтных ситуациях. Весной 1992 г. я воочию наблюдал ее в Цхинвали (Южная Осетия, Грузия), а в октябре 1995 г. особенно отчетливо в Чечне. Приводимые в книге свидетельства показывают среди кого и в каких формах проявляется это состояние.

Социальные психологи выделяют явления постконфликтной травмы или посттравматического стресса, что является скорее медико-биологической категорией и концептом психоанализа. Мы же обращаем внимание на более широкий социальный контекст того же самого явления. Апатия особенно фиксируется в годы, которые следуют сразу за разрушительной войной. Она обрела в Чечне массовый характер и выражается в отказе от собственной политики, в готовности следовать любому варианту “порядка”, даже самому фантастическому в виде дальних внешних спасителей, например, англичан. Апатии подвергаются все группы населения, но особенно мужчины, хотя женщины могут чаще выражать подобные чувства.

Прекрасный пример – свидетельство жительницы Грозного Марины, которое относится к 1997 г. Здесь весь набор феномена постконфликтной апатии, но привлекает внимание одно важное обстоятельство: в отличие от большинства мужчин, в том числе и в собственной семье, Марина продолжает заниматься делом. Она торгует на рынке.

“Сейчас по-прежнему торгуем на рынке. Сегодня только чувство безысходности, нет перспективы, денег нет, жизнь дорожает. Хуже, наверное, не будет... Ваххабизм – это тоже игра, это политический спектакль. Во время войны говорили, что нас передали Англии. Мы радовались, что наведут порядок. Но пока что-то ничего не видно. От Москвы нам ждать нечего. Масхадов ездит в Америку, Турцию, но народу легче не становится. Масхадов свою роль сыграл. Люди очень верили ему, но он разочаровал их. Теперь должен прийти новый человек, незапятнанный. Они все связаны: нет разницы что Масхадов, что Басаев. У ваххабитов есть и хорошие черты – сплоченность, прежде всего, уважение друг к другу, и у них есть деньги. Люди уже говорят, пусть даже они придут. Может хоть тогда жизнь наладится, дети будут учиться. Мы бы хотели достаток в среднем 100 долл. в месяц на семью на самое необходимое. Это уже превратилось в мечту. О роскоши мечтать не приходится. О себе даже не думаешь, никакого самообразования, мы все оупели. У нас регресс, народ откинут на 50 лет. Сложно сказать, чем все закончится”.

Наконец, возможно выделить особое состояние симбиоза непереносимости и конформизма. В период войны особо эффектными выглядели массмедийные демонстрации храбрости и щедрости чеченцев, когда они выпускали из плена офицеров и солдат федеральной армии. Особенно театрально-драматично выглядело это действие, когда совершалось в присутствии солдатских матерей. Собственно само движение возникло по причине установки на демонстрационный эффект освобождения. Последующие события в Чечне по-

казали сохранившуюся поведенческую модель жестокого отношения к человеку, особенно к вооруженному противнику и даже не противнику (например, убийство дагестанских и ставропольских милиционеров, расстрел пленников, калечение заложников), и показательно-демонстрационную (вполне может быть искреннюю) установку на прощение противника в наиболее унижительной форме.

Все вместе перечисленные факторы позволяют определить состояние общества, которое мы предлагаем назвать состоянием демодернизации или демодерна. *Это ситуация разрушенных вооруженным конфликтом социальных институтов и связей, а также радикального ослабления ресурсов общества, которые не позволяют ему восстановить свой статус-кво, тем более обеспечить развитие, и порождают стратегию обращения к давно забытой норме или к неадекватному внешнему заимствованию.*

Собственно говоря, никакое общество не гарантировано от возврата к прошлым нормам, но *ситуация демодернизации – это не обязательно возврат или движение вспять.* Это может быть также изобретение или заимствование неприемлемых проектов и правил, которые в данный момент существуют в других обществах. *Социальный демодерн может вполне существовать в контексте самых современных человеческих технологий и пользоваться их услугами, например, средствами электронной коммуникации и массмедиа, включая аудиовизуальные записи как часть технологии современной торговли людьми (пленники-заложники за выкуп).*

Выход из ситуации демодернизации крайне труден и необязательно возможен. Никто и никогда не доказал, что общественная эволюция всегда имеет некую “прогрессивную” направленность. К тому же война и политическое насилие в эту категорию никогда и не попадали, если только позднее не переосмысливались как “освободительные”, “революционные”, “справедливые”, чтобы обрести историческую легитимность.

Какие возможны внешние рекомендации со стороны изучающего феномен войны и конфликта? Во имя чего и для кого выполняется исследование, жанр которого определяется как “публичная антропология”, т.е. антропология срочной общественной значимости и задачей которого является стремление с научных и гражданских позиций найти пути и союзников преодоления глубокого кризиса? Эту “нормативную” часть исследования я сохранил для заключительной главы книги и для помещенных в приложении документов.

¹ См. ряд общих работ и обзоры зарубежной литературы: Gurr T.R., Harff B. Ethnic Conflict in World Politics. Boulder; San Francisco, 1994; Horowitz D. The Deadly Ethnic Riot. Berkeley, 2001; Stavenhagen R. Ethnic Conflicts in the Nation-State. L.; N.Y., 1996; Nationalism and Ethnic Conflict; an International Security Reader / Ed. M. Brown. Massachusetts, 1997.

² См., например: Балканы: Между прошлым и будущим. М., 1995; Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. М., 1998; Романенко С.А. Югославия: Кризис, распад, война: Образование независимых государств. М., 2000; Косовский кризис. Международный аспект / Под ред. Д. Тренина, Е. Степановой. М., 2000; The Yugoslav War, Europe and the Balkans. How to Achieve Security? Ravenna, 1995; Woodward S. Balkan Tragedy. Wash., 1996; Why Bosnia? Writings on the Balkan War / Ed. R. Ali. Connecticut, 1993; Malcolm N. Bosnia. A Short History. L., 1994.

³ Searching for Peace in Africa. An Overview of Conflict Prevention and Management Activities / Ed. M. Mekenkamp, P. van Tongeren, H. van de Veen. Utrecht, 1999.

⁴ См.: Stiefel M. Rebuilding after War: A summary report of the war-torn societies project. Geneva, 1998; Carbonnier G. Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy. A Critical Review of the Literature / The War-torn societies project occasional paper. Geneva 1998. № 2; Sorensen B. Women and Post-conflict Reconstructions. Issues and Sources. The War-torn societies project occasional paper. Geneva, 1998. № 3.

⁵ Tishkov V.A. Understanding Violence for Post-Conflict Reconstruction in Chechnya. Centre for Applied Studies in International Negotiations Report. Geneva, Jan. 2001.

⁶ См. обобщающую работу: Конфликты в современной России. Проблемы анализа и регулирования / Под ред. Е.И.Степанова. М., 1999.

⁷ Гакаев Дж. Чеченский кризис: Истоки, итоги, перспективы: Политический аспект. М., 1999.

⁸ Фундаментальную библиографию по проблемам антропологического изучения войны и мира см.: Ferguson B. with L. Farragher. The Anthropology of War: A Bibliography. N.Y., 1988. В 1988 г. вышел первый скромный указатель антропологов, занимающихся проблемами мира, международной безопасности и разрешения конфликтов: Directory of anthropologists working on topics of peace, international security and conflict resolution / Ed. R.A. Rubinstein and M. LeCron Foster. Commission on the Study of Peace International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. 1988.

⁹ См., напр.: Premdas R. Ethnic Conflict and Development: The Case of Fiji. Aldershot, 1995; Idem. Ethnic Conflict and Development: The Case of Guyana. Aldershot, 1995; Nnoli O. Ethnicity and Development in Nigeria. Aldershot, 1995.

¹⁰ Peace and War: Cross-Cultural Perspectives / Ed. M.L. Foster, R.A. Rubinstein. New Brunswick, 1986; The Social Dynamics of Peace and Conflict: Culture in International Security / Ed. R.A. Rubinstein, M.L. Foster. Boulder, 1988.

¹¹ См. соответствующую оценку этого направления современного антропологического знания: Rubinstein R.A. Collective Violence and Common Security // Companion Encyclopedia of Anthropology / Ed. T. Ingold L.; N.Y., 1994. P. 983–1009.

¹² Подробнее см.: Tishkov V. Ethnic Conflicts in the Former USSR: The Use and Misuse of Typologies and Data // Journal of Peace Research. 1999. Vol. 36 № 5. P. 1–21.

¹³ Lustick I. Unsettled States, Disputed Lands: Britain and Ireland, France and Algeria, Israel and the West Bank-Gaza. Ithaca; L. 1993.

¹⁴ Laitin D. D. Identity in Formation. The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca; L. 1998.

- ¹⁵ *Brubaker R.* Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, 1996; *Suny R.G.* The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993.
- ¹⁶ Релятивистская теория нации / Под ред. А.Г. Здравомыслова. М., 1998.
- ¹⁷ Conflict: Human Needs Theory / Ed. J. Burton. L., 1990; *Burton J.* Conflict: Resolution and Prevention. L., 1990.
- ¹⁸ *Sandole D.* Conflict Resolution in the Post-Cold War Era: Dealing With Ethnic Violence in the New Europe. Working Paper № 6. Institute for Conflict Analysis and Resolution. George Mason University. Fairfax, 1992. P. 12.
- ¹⁹ *Fisher R.* Needs Theory, Social Identity and an Aclectic Model of Conflict // Conflict: Human Needs Theory. P. 92–93.
- ²⁰ Конфликты в современной России. С. 324 (перечень этих “потребностей” см.: Там же. С. 324–325).
- ²¹ *Gurr T.R.* Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Wash., 1993; *Gurr T.R., Harff B.* Op. cit.
- ²² *Райс К.* Во имя национальных интересов // Pro et Contra. 2000. Весна. Т. 5. № 2. С. 103–120.
- ²³ Об этом проекте см.: Working Papers State Failure Task Force Report. 1995. 30 Nov.; Inventory of Security Projects. Projects on World Security Rockefeller Brothers Fund. N.Y., 1997.
- ²⁴ О самоопределении см.: *Hannum H.* Autonomy, Sovereignty and Self-Determination. The Accommodation of Conflicting Rights. Philadelphia, 1990; *Musgrave Th. D.* Self-Determination and National Minorities. Oxford, 1997; *Starovoitova G.* National Self-Determination: Approaches and Case Studies. Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies. Occasional Paper. Providence, 1997. № 27.
- ²⁵ О правах и свободах народов см.: “Права и свободы народов в современных источниках права: Сб. документов / Отв. ред. Р.А. Тузмухамедов. Казань, 1995; *Абашидзе А.Х.* Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву. М., 1996. Специально вопросы самоопределения в контексте прав меньшинств см.: *Соколовский С.В.* Права меньшинств: Антропологические, социологические и международно-правовые аспекты. М., 1997; *Starovoitova G.* Op. cit.
- ²⁶ *Musgrave T.D.* Self-Determination and National Minorities. Oxford, 1997. P. 256–257.
- ²⁷ *Trudeau P.* Against Nationalism // New Perspectives Quarterly. 1990. Vol. 7. P. 60.
- ²⁸ *Бутрос-Гали Б.* Повестка для мира. Нью-Йорк, 1992.
- ²⁹ *Перепелкин Л.С.* Чеченская Республика: Современная социально-политическая ситуация // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 5.
- ³⁰ *Петров Н.В.* и др. Чеченский конфликт в этно- и политико-географическом измерении. Изд. 2-е, перераб. и доп. // Политический ландшафт России. Бюллетень. 1995. Янв. С. 21.
- ³¹ *Bennigsen A., Wimbush S.E.* Mystics and Commissars. Sufism in the Soviet Union. L., 1985.
- ³² Chechnia. Report of an International Alert fact finding mission. L., 1992. P. 56.
- ³³ Известия. 1995. 7 февр.
- ³⁴ Независимая газета. 1994. 31 дек.
- ³⁵ Независимая газета. 1994. 22 сент.
- ³⁶ *Арутюнов С.А.* Законы гор вне законов равнин // Итоги. 1999. 19 янв. С. 14–16.

- ³⁷ См., например: *Нунуев С.-Х.* Нахи и священная история. Ярославль, 1998.
- ³⁸ Общая газета. 1995. 9–15 февр.
- ³⁹ Известия. 1995. № 23–26. 7, 8, 9, 10 февр.
- ⁴⁰ Независимая газета. 1995. 17 февр.
- ⁴¹ Русский порядок. 1995. № 1–2. С. 8.
- ⁴² Московские новости. 1995. 25 дек.
- ⁴³ Известия. 1995. 2 марта.
- ⁴⁴ *Тишков В.А.* Чеченский кризис: (Социально-культурный анализ) // *Тишков В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С. 405–477.
- ⁴⁵ Известия. 1995. 2 марта.
- ⁴⁶ *Яндарбиев З.* Чечения – битва за свободу. Львов, 1996.
- ⁴⁷ Там же. С. 15, 43.
- ⁴⁸ *Stern P.* Why do People Sacrifice for Their Nations? // Political Psychology. 1995. Vol. 16. № 2. P. 217–235.
- ⁴⁹ Об экономических проблемах реконструкции постконфликтных обществ см.: *Carbonnier G.* Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy. A Critical review of the Literature. The War-torn societies project occasional paper. Geneva, № 2. 1998.

Глава III

ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ И ПОЛИТИКА ПРЕСТИЖА

У меня возник вопрос, если предали они свою землю, свою родину, то почему же тогда они ее так любят. Все плачут. Все страдают. Все мечтают. О том, что предал, страдать не будешь.

Хажбикар Боков

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ

Одна из устойчивых отечественных традиций обществоведческого (в том числе этнографического) анализа – поиск ответов на современные проблемы в истории, причем, чем глубже этот экскурс, тем убедительнее представляется объяснение проблем. На академическом языке такой подход называется *историзмом*. Как писал выдающийся этнограф С.А.Токарев, “основной принцип этнографической науки в понимании советских ученых, как и основной принцип всего марксистского мировоззрения, исторического материализма, – это принцип *историзма*”¹. Другими словами, каждое явление, особенно культурное, можно понять только в его развитии и с учетом “этногенетических” факторов, считал С.А. Токарев.

Не является исключением чеченская “национальная революция” и война в Чечне, породившие массу интерпретаций с тотальным использованием в дебатах всей известной (и выдуманной) истории чеченцев, Чечни и отношений этого региона с остальной Россией. Совсем неслучайно родилась после подписания договора с Асланом Масхадовым в Кремле в мае 1997 г. фраза Бориса Ельцина: “Мы покончили с 400-летней враждой”. Конфликт и его объявленное разрешение казались двум лидерам и их идеологам результатом прежде всего давней истории. Эта фраза – блестящая иллюстрация воздействия на политиков плотного исторического дискурса, в котором видится современное социальное действие.

На десятках конференций и дискуссий, посвященных чеченской войне, в которых мне довелось участвовать за последние годы, шли преимущественно дебаты об истории Чечни и России или истории непосредственно самого конфликта. Даже на конференции, названной “Чечня: что дальше и где ключи решения проблемы?” (организована и проведена Московским центром Карнеги 20 января 2000 г.) докладчики Шамиль Бено и Эмиль Паин и участники дискуссии говорили фактически только о том, что произошло в прошлом.

Моя методологическая позиция исходит из того, что *исторический и этнический факторы не лежат в основе конфликтов в регионе бывшего СССР, включая Чечню и в целом Северный Кавказ*². Это прежде всего современные конфликты современных участников (акторов) социального пространства и по поводу современных проблем и устремлений. К подобному заключению приходит также ряд исследователей, изучающих эту проблему в странах бывшего СССР и в других регионах мира³. Тем не менее мы отдаем должное истории как мощному объяснительному и мобилизационному ресурсу, а также как одному из жанров академического нарратива.

И все же насколько глубоко необходимо заглянуть в прошлое, чтобы не просто рассказать о сегодняшней Чечне и о чеченцах, но и взять из этого прошлого аргументы, объясняющие происходящее. Вообще, возможен ли в рамках отечественной обществоведческой традиции взгляд на современность с полезным привлечением материалов истории или мы обречены полагать, что современность – это не более чем плохо осознаваемая нами реализация прошлого или же своего рода кара за его игнорирование или незнание? Наконец, сколько и какого прошлого требуется, чтобы понять суть и динамику конфликта в Чечне или же обеспечить ложную версию как одну из его составляющих?

Сразу же отмечу, что знание, а точнее, сведения о Чечне и о чеченцах и понимание насильственного конфликта – это разные вещи. Как справедливо заметил один из писателей, кто был на войне, может чувствовать войну и не понимать ее; кто не был на войне может понимать, но не чувствовать войну. Тем не менее знание и понимание тесно связаны между собой. Прямое отношение к пониманию конфликта в Чечне имеют и историко-этнографические сведения. Это только внешний мир как бы впервые “открыл” для себя Чечню и чеченцев в начале 1990-х годов. В какой-то мере то же самое можно сказать и о новом поколении россиян, включая журналистов и ученых. Но в целом багаж гуманитарного знания в области отечественного кавказоведения достаточно обширен и представлен многими выдающимися именами ученых и их трудами⁴. Хотя этот багаж, а тем более обращение к нему тоже требуют критической оценки с точки зрения избранных мною темы и метода анализа.

В самом начале XX в. известный российский ученый, академик Лев Штернберг написал краткую статью “Чеченцы” для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1903. Т. 76. С. 785–786). Этот текст отразил как имевшийся этнографический материал и теоретический уровень науки, так и некоторые стереотипы европоцентристской по духу российской этнографии. Другой этнографии, кроме как взгляда “европейцев” на “дикие народы” или на “иностранцев” в ту пору в мире и не существовало. Прежде чем привести из-

влечения из статьи Штернберга, сделаем несколько предварительных замечаний.

До рождения профессиональной дисциплины в конце прошлого века за “этнографию” часто выдаются описания, дневники и отчеты о разных местах и населяющих их народах, которые были составлены путешественниками, миссионерами, писателями, охотниками и очень редко – учеными-исследователями. Территория нынешней Чечни не была полем активной деятельности ранней российской науки. Одними из самых первых могут быть названы труды профессора Петра Палласа, который совершил в 1773 г. путешествие по Кавказу и положил начало этнографическому описанию народов северо-восточной части региона. В самом начале XIX в. территорию проживания чеченцев и ингушей обследовал Генрих Клапрот, которого интересовали языки, быт, устройства горских поселений. В 1859 г. историк А.П.Берже написал первую книгу о Чечне и чеченцах⁵. Во второй половине XIX в. были выполнены труды по археологии Кавказа Всеволода Миллера, который открыл миру уникальную каменную архитектуру Чечни и Ингушетии. Появились этнографические описания ученых и просветителей из числа самих кавказских народов, и среди них работы ингуша Чаха Ахриева и чеченца Умалата Лаудаева⁶.

Из ранних сведений некоторые принадлежат иностранным авторам и содержат помимо интересных деталей довольно упрощенные взгляды как на культурную мозаику региона, так и на оценки политической ситуации внутри и вокруг Северного Кавказа. А.И. Мусукаев и Й. Маттис недавно издали русские переводы некоторых из таких источников. Составленная в Лондоне в 1788 г. “Записка к карте стран, расположенных между Черным и Каспийским морями, с перечислением кавказских народов и словарей их языков” никаких особых сведений, кроме уже известных из работ Палласа, не содержит (обычное грубое деление местных жителей на “черкесов” и “татар”). Другой источник – “Отчет Эдинбургского миссионерского общества за 1817 год с приложением географического и исторического описания миссионерских пунктов в азиатской России” выделяет народ кисты из черкесов, поскольку они “говорят на отличном от других племен языке”: “Кисты – очень сильный и многочисленный народ и делятся на три племени: чеченцев, карабулаков и ингушей. Все племена говорят на одном и том же языке, но диалекты немного отличаются друг от друга. Чеченцы являются одним из самых воинственных и беспокойных племен, живущих вдоль русских укрепленных линий. Они заселяют высокие неприступные горы и непроходимые теснины, и любая попытка вытеснить их из этих созданных природой крепостей обречена на неудачу”⁷.

Однако вернемся к статье Штернберга, в которой чеченцы определялись как “кавказская народность восточно-горской



Чечня, жители с. Мелхисты. 1939 г. Архив ГМЭ

группы, занимавшая до войны (имеется в виду Кавказская война XIX в. – В.Т.) территорию между реками Аксаем, Сунжей и Большим Кавказским хребтом, а ныне живущая смешанно с русскими и кумыками в Терской области, между Тереком и южной границей области”. Всех чеченцев, не считая ингушей, числилось на 1887 г. 195 тыс. Свое название они ведут от названия аула Большой Чечен, “служившего некогда центральным пунктом для всех собраний, на которых обсуждались военные планы против России” (?). О древнейших судьбах чеченского племени не имеется никаких данных, кроме фантастических легенд о чужеземцах (арабах), основателях этого народа. До 1840 г. отношение чеченцев к России было более или менее мирное, “но в этом году они изменили своему нейтралитету и, озлобленные требованием со стороны русских о выдаче оружия, перешли на сторону известного Шамиля, под предводительством которого в течение почти 20 лет вели отчаянную борьбу против России, стоившую последней огромных жертв. После войны часть чеченцев эмигрировала в Турцию, а часть переселилась с гор на плоскость”.

Далее автор написал несколько десятков строк, в которых перемешались фантазия и более точные данные и которые со временем превратились в этнографический стереотип. «Чеченцы высокого роста и хорошо сложены. Женщины отличаются красотой. В антропологическом отношении чеченцы представляют тип смешанный... (далее идут антропометрические данные). Чеченцы считаются людьми веселыми, остроумными (“французы Кавказа”), впечатли-



Чеченец с. Саярсана Ножай-Юртовского района. 1970 г.
Фото Б.А. Калоева

тельными, но пользуются меньшими симпатиями, чем черкесы, вследствие их подозрительности, склонности к коварству и суровости, выработавшихся, вероятно, во время вековой борьбы (?). Неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в борьбе – черты чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами. В обыкновенное время идеал чеченцев – грабеж. Угнать скот, увести женщин и детей, хотя бы для этого пришлось ползти по земле десятки верст и при этом рисковать своей жизнью – любимое дело чеченца... Во время своей независимости (?) чеченцы, в противоположность черкесам, не знали феодального устройства и сословных разделений. В их самостоятельных общинах, управлявшихся народными собраниями (?), все были абсолютно равны (?). Мы все “уздени”

(т.е. свободные, равные), говорят теперь чеченцы. У немногих только племен были ханы, наследственная власть которых ведет свое начало от эпохи магометанского нашествия. Этой социальной организацией (отсутствие аристократии и равенство) объясняется та беспримерная стойкость чеченцев в долголетней борьбе с русскими, которая прославила их героическую гибель (?). Единственным неравноправным элементом среди чеченцев были военнопленные, бывшие на положении личных рабов...».

Этот канонический текст фактически не подвергался сомнению почти сто лет. Более того, он стал отправным для многих кавказоведов и специалистов по Чечне, которые работали в последующем. В 1920–1930-е годы были созданы новые искусствоведческие, лингвистические, археологические и этнографические работы, а также написаны историко-краеведческие очерки чеченского писателя Халида Ошаева⁸. С 1935 г. в Чечено-Ингушетии начала работать Северокавказская археологическая экспедиция Института археологии АН СССР под руководством известного археолога Е.И. Крупнова, который не только опубликовал солидные труды по древней истории Северного Кавказа⁹, но и позднее сыграл важную роль в воспитании молодых ученых из числа чеченцев и ингушей после возвращения их из депортации.

Р.М. Мунчаев, нынешний директор этого института и участник Северокавказской экспедиции в 1950–1960-е годы, так оценивает этот момент в истории изучения истории и культуры региона:

«С Евгением Игнатьевичем Крупновым связано становление гуманитарной науки Чечено-Ингушетии. Он начал вести археологические раскопки в центральной части Ингушетии с середины 1920-х гг. и сделал там несколько открытий древних могильников и средневековых курганов. Все работы организовывались с активным участием местных специалистов и рядовых жителей из числа молодых людей. У него там было много друзей, и он любил этот край и ценил культурные традиции местного населения. Затем он ушел на фронт, а потом рассказывал, что он плакал, когда из рядов его фронтовых товарищей “выдергивали” ингушей и чеченцев и отправляли их в ссылку. После окончания войны Крупнов возобновил раскопки и перенес исследования в Чечню. Он тогда говорил нам, что мы все в долгу перед этим народом и нужно срочно ликвидировать отставание в изучении его прошлого и культуры. Это было не просто, когда даже упоминания чеченцев и ингушей стали редкими. В рамках Северокавказской экспедиции с 1956 г. высоко в горах Чечни начал работать отряд В.И. Марковина. Я с отрядом начал раскопки у Сержень-Юрта, где с 1955 по 1967 г. проводил ежегодные работы. В Чечне Крупнов работал еще почти двадцать лет главным образом в районе села Бамут, где были найдены два могильника и поселение эпохи бронзового века. Это очень интересные памятники, и мы издали вместе с Крупновым две монографии.

В 1957 г. был создан при нашем содействии Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы во главе с А.А. Саламовым, а его заместителем был прекрасный чеченский



Северо-Кавказская археологическая экспедиция, 1962 г., с. Сержень-Юрт. В центре сидят В.И. Козенкова и Е.И. Крупнов. Сзади стоит (третий слева) М.Б. Пиотровский, будущий директор Эрмитажа

ученый и писатель Халид Дудаевич Ошаев, который кроме научных трудов¹⁰ написал талантливую книгу “Конец вендетты”. Тогда не было никакого серьезного учебного пособия по истории Чечено-Ингушетии, и Крупнов поставил такую задачу. Он даже пригласил на раскопки Василия Прокопьевича Любина, который нашел памятники времен палеолита. Тогда был подготовлен первый проспект древнейшей истории региона»¹¹.

В своей обобщающей работе по археологии Кавказа в эпоху ранней бронзы Р.М. Мунчаев приходит к следующему выводу о культурно-историческом развитии Северного Кавказа, Закавказья и Дагестана, Кавказского Причерноморья: “Развиваясь во взаимовлиянии между собой и с культурами смежных территорий, племена раннебронзового века Закавказья и Северного Кавказа создали оригинальные культуры, отличные по своему материальному облику друг от друга, а в еще большей степени от культур сопредельных с юга и севера областей... Возникают, естественно, вопросы: кто же носители этих самобытных и оригинальных культур Кавказа изучаемой эпохи, на каком языке или на каких языках они говорили и, наконец, можно ли считать их хоть в какой-то степени отдаленными предками современных коренных народов Кавказа?”¹². Как настоящий профессионал, ученый осторожен в своих заключениях о так называемых этногенетических связях, его смущают слишком прямолинейные и малообоснованные культурно-языковые параллели, особенно с древ-



Северо-Кавказская археологическая экспедиция, 1961 г., с. Бамут. Среди студентов Грозненского университета начальник отряда Р.М. Мунчаев (стоит в центре), слева от него В.Б. Виноградов

нейшими очагами человеческой цивилизации в Вавилонии и Месопотамии, где в последующем проводил свои исследования Р.М. Мунчаев. Тем не менее именно вокруг этих сюжетов потом расцветут паранаучные построения чеченских радикальных националистов и идеологов “чеченской уникальности”, о которых пойдет речь в последующих главах книги.

За последние десять лет число пишущих и количество написанного превзошло все, что было сочинено до этого о Чечне и чеченцах. Незыблемым и расцвеченным современными фантазиями остался только образ “французов Кавказа” – своего рода новое издание колониальной этнографии, но уже направленное против “мини-империи” – Российской Федерации.

В задачу книги не входит обстоятельный исторический анализ. Однако XX век, в том числе и последние десятилетия, оказали столь сильное воздействие на Чечню и на чеченцев, что обращение к истории и ее новое прочтение необходимы, чтобы показать уязвимость некоторых устоявшихся историко-этнографических версий и найти новые ракурсы для объяснения произошедшего конфликта. В этой и последующей главе меня прежде всего интересует социально-культурная эволюция чеченцев как этнической общности, а также как части населения Чечено-Ингушетии, затем Чеченской республики и остальной страны (СССР, затем Российской Федерации).

Самым слабым, хотя и наиболее привлекательным, представляется подход, который якобы реконструирует глубокое прошлое чеченцев как специфическое по своей социальной структуре и системе ценностей общество, неведомым для всех остальных образом дожившее до наших дней. Именно социальная структура (прежде всего тейпы и исламские вирды) вместе с традиционным правом, “в котором большую роль играло право (и обязанность, и институт) кровной мести”, породили общество, которое “культивирует (и предполагает), с одной стороны, сильнейшие ценности свободы и равенства, нежелание и, можно сказать, неспособность подчиниться какой-либо внешней и принудительной власти, с другой – развитое стремление к соперничеству (в рамках своего мира, своей социальной среды) и чувство чести”. Строя эти заключения на основе статей ряда авторов, редактор-составитель книги о Чечне Д.Е. Фурман делает вывод “о самом глубоком факторе”, определившем современный путь Чечни: «Эта система ценностей, в значительной мере сохранившаяся до сих пор, чеченское свободолюбие и своеобразная динамика “анархической” разобщенности и сплоченности – важнейший источник того, что политическое развитие Чечни пошло по совершенно иному пути, чем у других народов, и общая позднесоветская–постсоветская модель была здесь модифицирована “до неузнаваемости”»¹³.

В чем уязвимость данной интерпретации, в плену которой оказались как искушенные специалисты, так и неопиты в области этнических проблем и “конфликтологии”? Во-первых, мировой социально-культурной антропологии неизвестны подобные общества “свободы и равенства”, “чести и достоинства”, кроме как в колониалистской традиции конструирования образа или общества “гордого дикаря” (*noble savage*). Этой традиции отдали дань не только Фенимор Купер и Лев Толстой, но и многие известные ученые, как, например, Л.Г. Морган и Н.Н. Миклухо-Маклай.

Современных поборников “гордой архаики” из числа активистов – защитников “меньшинств” и “аборигенов” огромное количество. В последнее время к ним добавились неувядающие воины “холодной войны”, борцы против коммунизма, перекалфицировавшиеся на борьбу против “имперских наций” (преимущественно русских, сербов и отчасти китайцев). Подобные открытия “самодостаточного общества”, в котором “в спокойной обстановке чеченцы, очевидно, еще долго жили бы своими тейпами”¹⁴, сейчас делаются довольно часто именно в тех ситуациях, когда нужно осудить “страшную внешнюю угрозу – русское завоевание” (опять же слова Д.Е. Фурмана) или объяснить, почему не получается эффективного политического управления или государственного принуждения в тех или иных ситуациях.

Один из наших чеченских информантов (бывший школьный учитель) сказал фразу в ее казалось бы обыденном смысле: “ви-

димо, история ничему не учит”. Однако в данном случае есть основание говорить не столько о пользе, сколько о вреде истории, когда дальние исторические экскурсы и культурные параллели (чеченцы сравниваются с древними эллинами, Энеями с гранато-метами¹⁵) освобождают от более жесткого и, возможно, политически некорректного анализа. Не может же захват чужой собственности или денежное вознаграждение за исполнение насилия сравниться с литературной красотой толстовского Хаджи Мурата или с высказыванием Солженицына о чеченцах в депортации как представителей единственной нации, никому не подчинявшейся в условиях ГУЛАГа!

В практике использования антропологом исторических аргументов, вероятно, самый оптимальный подход – это прежде всего взгляд на жизнь современных поколений, т.е. на непосредственную, лично пережитую историю (конкретный опыт или практика). Все остальное передается через устную традицию, печатные тексты и пропаганду тех, кто специально этим занимается или возложил на себя добровольную миссию “сохранить (открыть, восстановить) историческую правду”. Никакой “генетики” в ее буквальном смысле слова здесь нет и быть не может, а поэтому и использование самого понятия типа “генетическая память” научно несостоятельно.

Еще более значим период исторического времени, который прожило поколение идеологов и лидеров вооруженной борьбы. Что, скажем, означает “их” история Чечни для Джохара Дудаева, Зелимхана Яндарбиева и Алана Масхадова, и как она соотносится с их личным жизненным опытом? Наконец, если можно это считать историей, каков прожитый личный опыт молодых чеченских боевиков: имеет ли он собственный смысл или же он полностью подчинен версии истории, предложенной старшими поколениями, а также непрожитой, вычитанной версии “древней истории”?

XX ВЕК И ЧЕЧЕНСКИЕ ВЕРСИИ ИСТОРИИ

Что мы обнаружили в чеченской версии истории, так это огромное значение исторического мифа о происхождении народа и периода сталинской депортации 1944 г., особенно для взрослого населения. Депортация – это начало истории современного поколения. Об этом свидетельствует тот простой факт, что у большинства взрослых чеченцев место рождения – это районы Казахстана и Киргизии. Период до депортации представляется довольно скупо: это в основном воспоминания дедушек и бабушек или пересказываемые семейные истории предков. Их глубина невелика, и редко какая из них со-

ставляет семь и более поколений, которые, как считается, должен знать каждый чеченец^{*}. Но дореволюционный и ранний советский периоды в семейной памяти чеченцев присутствуют. Это время обычно связывается с государственной службой или с контактами, которые имели чеченцы с русскими и с другими соседями. Некоторые мои собеседники и друзья-коллеги из числа чеченцев были поздними детьми и имели престарелых родителей (отцов), которые прожили значительную часть жизни до и сразу после революции 1917 г. В их рассказах есть ряд важных моментов об истории чеченцев в этом столетии.

Один из информантов, Хажбикар Боков родился в 1935 г., когда его отцу уже было 69 лет. Его мать была на 23 года моложе отца. Она родила 14 детей и, как сказал Хажбикар, “была матерью и домохозяйкой-работницей”.

*«От матери осталось столько рассказов, что мне хватило сюжетов на всю жизнь. Отец хорошо говорил по-русски. Он служил в Польше и Финляндии. Был участником гражданской войны на стороне красных. А в 1933 г. его посадили за что-то на несколько лет. Только в 1978 году получил на него реабилитацию^{**}. Отец был без средств и не мог мне обеспечить обучение, но никогда не мешал мне учиться, хотя было очень трудно. Я даже в школе прерывался на два года, чтобы работать. А писать я начал еще в школьные годы, и первые мои публикации были в “Павлодарской правде”. В 1955 году я встретил Валентину, она приехала из Орла в Павлодар работать инженером. Когда я решил жениться на Валентине, родственники отговаривали брать “чужую”, а отец на это сказал: “Вот не*

^{*} Здесь Джабраил Гакаев оспорил этот тезис, указав, что не только лично он, но и многие, кого он знает, хорошо осведомлены о своих родословных: «Я помню 14 поколений. Дудаев называл семь по матери, но не по отцу. Есть записи родословных, а я выучил от отца. Среди чеченцев есть самородки с прекрасной памятью. У меня был родственник по имени Мед. Он прожил сто лет. Служил еще в царской Дикой дивизии, нес службу в Зимнем дворце. Потом он даже преподавал историю в казахском селе в “совхозе имени Сталина” Чаяновского района Южно-Казахстанской области (любопытное соединение в советской топонимике имен палача Сталина и его жертвы Чаянова, сохранившееся в послевоенный период! – В.Т.). Он не только учил истории, но и многим рассказывал их родословные. У чеченцев есть элитные роды, и мой кейский род – это элитный род, среди членов которого устная история была очень сильной. Я называл своего старшего сына в честь Меда. А сын самого Меда, Исмаил, тоже наследовал этот дар, и он был замечательный рассказчик».

^{**} Вот текст этого документа, написанный на бланке Верховного суда Чечено-Ингушской АССР (бланк на трех языках: чеченском, ингушском и русском): “Алихановой Х.Б., гор. Малгобек, ул. Горданова, 118. Справка. Постановлением Президиума Верховного Суда Чечено-Ингушской АССР от 27 апреля 1978 года в отношении постановления Тройки при ПП ОГПУ СКК и ДССР от 10 июня 1933 года в отношении БОКОВА Хакаяша Дасхоевича, 1866 года рождения, ингуша, беспартийного, ранее не судимого, отменено и делопроизводство прекращено за недоказанностью предъявленного ему обвинения. Председатель Верховного Суда Чечено-Ингушской АССР К.Д. Бурмистров”.

счастливые. Они думают, что Аллах только их и создал”. Он, бывало, любил попросить сварить ему борщ. Валентина проработала 25 лет деканом географического факультета и заведующей кафедрой экономической географии ЧИГУ. У нее у самой отец был расстрелян в 1937 году».

В воспоминаниях многих чеченцев о дедушках и прадедушках красной нитью проходит тема служения революции и необоснованных репрессий, которые обрушились на чеченцев без всяких причин и без разбора. Кто-то на кого-то писал, вернее, как вспоминает Жовзан Зайналабдиева, “поставил свои пальцы” под бумагами-доносами, ибо многие были неграмотны.

«Мой дедушка по отцу тоже был репрессирован. Его отец был знатным человеком (шейхом), так как на его могиле был домик^{}. Мой дед был за красных, он был первым председателем Энгинейского сельсовета, но ему поставили в вину, что он говорил: “пока все не наладилось, нужно сохранить обучение в школах на арабском алфавите, а с коллективизацией тоже не торопиться”. На это завели дело, и двое чеченцев поставили свои пальцы, что он так говорил.*

*Мой отец не помнил отца, помнил только, как уходил человек и погладил ему голову и сказал, что пока не вернется, голову ему пусть не бреют^{**}. Ему так ни разу и не побрили голову, а только стригли волосы. Хотя у чеченцев есть обычай мальчикам и девочкам один раз брить голову. Для этого даже ищут хорошего (доброего) человека, чтобы был похож на него, когда вырастет. А вот отца потом стригли, но так и ни разу в жизни не побрили. Мой отец первый раз увидел фото своего отца уже в следственном деле. Это было маленькое фото, на котором мой дед в национальной рубашке и его глаза как бы спрашивают “За что?”».*

В целом для современных чеченцев политика “глубоких воспоминаний” строится на тезисе о том, что их дедушки и прадедушки были верноподданными российского государства, несли разные службы, вплоть до воинской в императорской гвардии, а когда пришла революция 1917 г., то они приняли сторону большевиков и даже вступили в Красную Армию или исполняли различные гражданские должности вплоть до руководства местными органами совет-

^{*} Жовзан, видимо, имеет в виду один из типов родовых святынь – *сиелинг* – каменные столбы особой формы, воздвигавшиеся в честь умерших, предков рода. Около них относившие себя к этому роду устраивали моления.

^{**} Это распространенный обычай, заимствованный у тюркских народов. Чтобы ребенок рос здоровым и удачливым в раннем возрасте (3–5 лет) совершали обряд “первого бритья головы”. При этом зарезали обычно жертвенного барана и звали родственников на угощение. Джабраил так рассказал мне про свой случай: «Отец побрил меня года в четыре, оставив на макушке клочок волос. Это было в году 1947–1948, во время ссылки. Я так с хохолком ходил пока волосы не отрасли. Но все равно детей брили и до, и после “первого бритья”. Обычно делали это пару раз в году. Иногда родители или кто-то из родственников сами стригли детей и друг друга. Парикмахерских в селах не было. Ездить в город было дорого».

ской власти. Однако многие из них были несправедливо репрессированы сталинским режимом.

Только с момента “национальной революции” начала 1990-х годов выстраиваются “новые генеалогии”, которые восходят к тем немногим чеченским “абрекам”, которые оказывали сопротивление как царской, так и советской власти на территории Чечни или за ее пределами в эмиграции. Два портрета из этой новой героической линии (известный абрек Зелимхан Харачоевский и бандит Хасу Шатоевский) Муса Гешаев включил в составленную им книгу “Знаменитые чеченцы”, изданную в Бельгии в 1999 г., но арестованную российской таможней. Новоявленные герои должны были доказывать тезис: чеченцы никогда никакой власти, в том числе и советской, не подчинялись, а то, что они “способствовали победе большевиков”, так это они просто “попали в ловушку”¹⁶. Именно по причине радикального пересмотра чеченской истории в условиях и под влиянием конфликта, а также в целом постсоветских идеологических ревизий было бы полезным изложить менее политизированный взгляд на историю чеченцев в XX в.

ПОЛИТИКА КОРЕНИЗАЦИИ

В советский период в культурной эволюции чеченцев, равно как и других этнических меньшинств СССР, произошли сложные и глубокие перемены. Советская политика коренизации 1920–1930-х годов¹⁷, наряду с созданием этнотерриториальной автономии для чеченцев и ингушей, способствовала быстрому распространению у них грамотности и появлению интеллигенции. В борьбе за ликвидацию отсталости “национальных окраин” ранние установки большевиков предусматривали перевод образования на родной язык, что, в свою очередь, означало необходимость наличия письменности.

В 1914 г. в Чечне было 154 школы, имелся первый чеченский букварь на основе арабской графики. Школы действовали не только в Грозном – растущем центре российской нефтепромышленности, но и в некоторых горных селах. Однако среди чеченцев грамотных было менее 1%. Как отмечает исследовательница этого вопроса Зулай Хамидова, поскольку в XVIII–XIX вв. в их общественной жизни господствовал ислам, арабская письменность использовалась не только для религии, но и в делопроизводстве, официальной и частной переписке. В чеченском языке этого периода появляется значительное количество арабских слов. “Развитие чеченского языка в этот период происходило и за счет внутренних ресурсов при все более тесном взаимодействии носителей разных диалектов и говоров, что способствовало их сближению, стиранию различий между ними и выработке общих норм речевого поведения. Открытие школ, гимназий, появление новых букварей и учебников на чеченском языке способст-

вовало зарождению учебно-педагогической терминологии, употреблению языка в новой для него сфере деятельности. В этот период появляется чеченская интеллигенция”¹⁸.

Необходимо было избрать основу литературного языка, т.е. осуществить определенный выбор из довольно большого числа разных вариантов чеченского языка (так называемых “диалектов”). Небольшой круг образованной интеллигенции принял в этой работе активное участие. Был выбран диалект населения равнинных районов, прежде всего жителей Грозного и прилегающих к нему сел. Первоначально письменность была создана на арабской графике, и в 1921 г. появляется новый чеченский букварь. К обучению грамоте привлекались учителя мусульманских школ. Уже в 1923 г. 50 человек начали работу по ликвидации неграмотности в селах. За период с 1924 по 1932 г. в “ликпунктах” были обучены грамоте 69 333 человека взрослого населения, в том числе 2120 женщин-чеченок¹⁹.

Очень скоро ориентации советской власти поменялись в пользу латинской графики, чтобы, как выразился один из тогдашних лидеров, А.И. Микоян, “разбить стену между европейской и мусульманской культурой”, “сблизить Запад и Восток”. В 1925 г. принимается решение о переходе на латинскую графику в Чечне, несмотря на сильное сопротивление мусульманского духовенства. В 1926 г. в Ленинграде был изготовлен латинский шрифт для чеченской письменности, с 1927 г. первая чеченская газета “Серло” (“Свет”) стала выходить на латинской графике. В 1928 г. начала работать радиостанция на чеченском языке, а в 1929 г. создан Союз писателей Чечни. С 1930 г. в СССР вводится обязательное всеобщее начальное образование. Кампания по его внедрению разворачивается и в Чечне, несмотря на такие трудности, как отдаленность и труднодоступность горных сел, глубокая религиозность населения, недостаток учителей и учебных материалов. В 1931 г. открылся первый национальный театр.

Это были годы бурного развития чеченской культуры и языкового строительства. Вышли первые учебники с использованием латинской графики: арифметика, чеченский язык, природоведение, книга для чтения, словари, сборники фольклора. В Грозном начал работать Институт национальной культуры, действовали два педагогических, два нефтяных, два сельскохозяйственных, один медицинский техникумы, нефтяной и педагогический институты. На чеченском языке выходят первые произведения местных писателей. После объединения в 1934 г. Чечни и Ингушетии в Чечено-Ингушскую автономную область был принят единый алфавит на основе латиницы.

Местные власти энергично осуществляли политику “коренизации”, и в феврале 1936 г. Областной совет принял постановление о подготовке национальных кадров, вовлечении чеченцев и ингушей в производство, распространение среди них родных языков. Документ



Чечня, жители с. Урус-Мартан. 1939 г. Архив ГМЭ

гласил: “Игнорирование и противодействие мероприятиям по созданию национального пролетариата, коренизации госаппарата и переводу делопроизводства на родной язык будут рассматриваться как контрреволюционная вылазка классового врага”. Этим же постановлением советы всех уровней должны были “довести к концу 1936 г. удельный вес чеченцев и ингушей в аппарате до 60%, разработать вопрос преподавания в сельских школах на родном языке, ввести родной язык во все школы, средние, профессиональные и высшие учебные заведения в городе; организовать курсы по подготовке работников для советского аппарата – секретарей, машинисток, бухгалтеров, счетоводов, инструкторов и т.д., организовать спецкурсы по изучению коренного языка для других национальностей, постоянно работающих в области и не владеющих чеченским и ингушским языками; утвердить организацию 70 школ в районах для малограмотных и неграмотных работников чеченцев и ингушей на родном языке и 22 школ по изучению коренных языков для работников других национальностей; выделить на все мероприятия деньги”²⁰.

К началу 1937 г. “коренизация” аппарата была произведена на 70%! Работу и престижные назначения получили, как пишет Зулай Хамидова, “все, кто имел хоть какое-то образование и авторитет среди населения”²¹. Они еще только приступили к своей работе, а в ночь с 31 июля на 1 августа 1937 г. по составленным НКВД спискам была проведена по всем селам и районам “генеральная операция по изъятию антисоветских элементов”. В результате 14 тыс. человек были арестованы, часть из них расстреляна, многие сосланы в концлагеря. Аресты продолжались до ноября 1938 г. Только в аппарате власти было арестовано 137 человек – почти все чеченцы и ингуши. По некоторым данным, в репрессиях 1930-х годов в Чечено-Ингушетии пострадало около 200 тыс. человек²².

Насколько эти данные являются точными, судить довольно трудно, но хорошо известно, что среди арестованных было много чеченцев, которые занимали престижные должности, начиная с главы правительства и кончая простыми чиновниками сельских советов. При этом происходило характерное для советского общества того времени довольно быстрое замещение репрессированных кадров (своего рода эффект стандартизированного по своим функциям советского активиста, которому был предписан четкий набор функций, позволявший осуществлять массовые социальные эксперименты²³) и сам процесс развития чеченской культуры не был остановлен.

В 1938 г., помимо уже действовавших вузов и культурных учреждений, начали работать Национальный театр песни, музыки и пляски, музыкальная школа и музыкальный техникум. Были организованы профессиональные союзы писателей, художников, архитекторов и композиторов. Открылись Музей изобразительных искусств, Дом народного творчества. Всего перед второй мировой войной в Чечено-Ингушетии издавалось 16 газет, действовало 408 школ, 5 те-

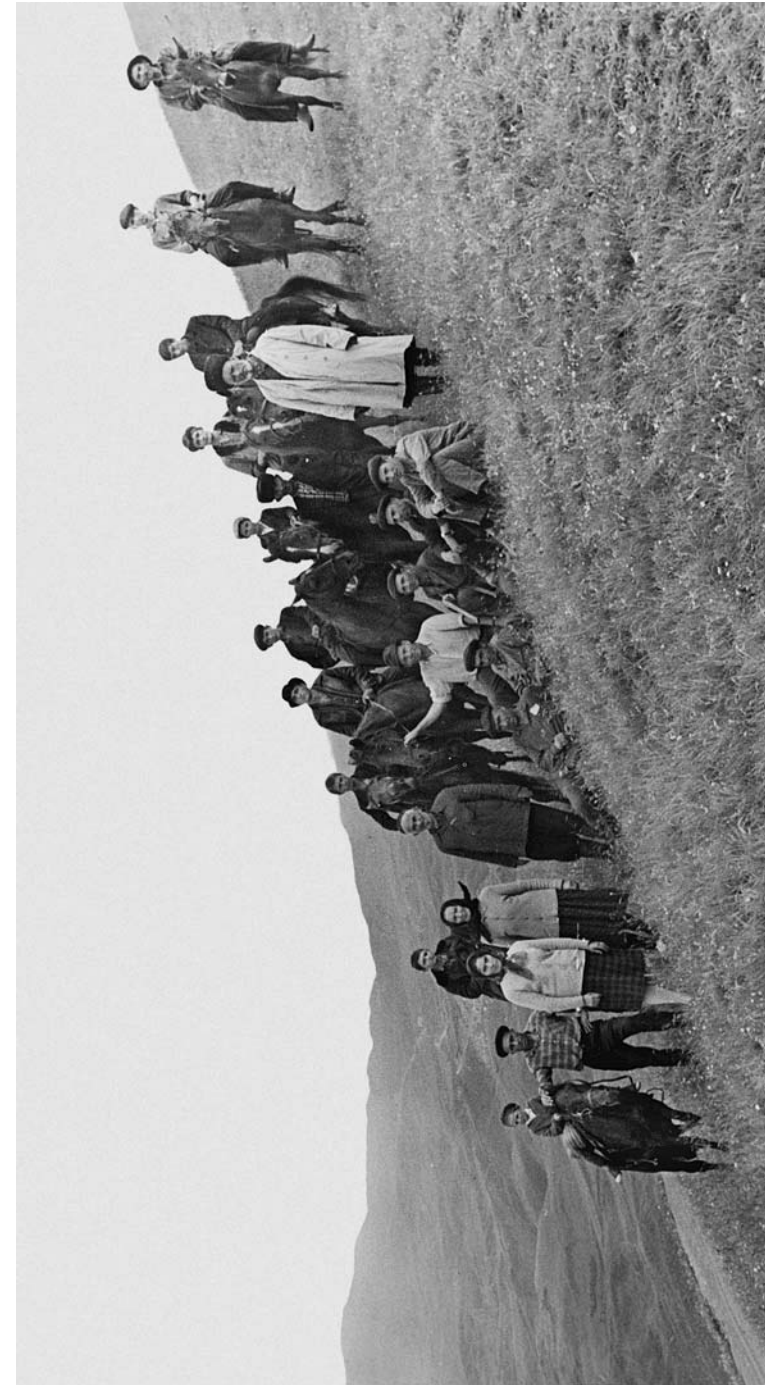
атров, 248 библиотек и 212 изб-читален. Неграмотность была ликвидирована среди 75 % населения²⁴. Как справедливо замечает Зулай Хамидова, “успехи культурной революции, таким образом, несмотря на террор, были грандиозны. Но, пребывая в СССР и РСФСР, Чечено-Ингушетия полностью зависела в своем развитии от изменений в идеологии и политики России, Москвы, причем зависела не только в таких вопросах, как административное устройство, но и в том, что значительно глубже, что непосредственно связано с самой национальной идентичностью – в языке. Чеченский язык становился жертвой российских перемен”²⁵.

Действительно, уже в 1938 г. в СССР принимается решение перевести все новописьменные языки на русскую графическую основу. Это решение затронуло около 70 этнических групп, включая и все народы Северного Кавказа. Переход был связан с большими трудностями. Нужно было учить новый алфавит, переиздавать все учебники, менять шрифт, упорядочивать орфографию и терминологию, осуществлять новые переводы общественно-политической, сельскохозяйственной, медицинской и технической литературы. Встала проблема издания новых учебников для чеченских и ингушских сельских школ. После этой реформы чеченский и ингушский языки и литература сохранились в школе только как предметы, а все остальные дисциплины стали преподаваться на русском языке. С этого момента начался процесс интенсивной языковой ассимиляции чеченцев в пользу русского языка. Одновременно в эти же годы были заложены основы научного изучения чеченского языка, фольклора, литературоведения, которое продолжилось уже после второй мировой войны²⁶.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

За многие века освоения долин и предгорий как чеченцами и ингушами, так и русскими жителями в Чечено-Ингушетии образовался обширный фонд пахотных земель (около 400 тыс. га в 1937 г.), не считая огромное число мелких частных участков в горных селениях и индивидуальных огородах в долинных районах. Были еще фруктовые сады и даже семейные (родовые) рощи дикоросов (орехи, ягода, черемша). Малика Сальгириева рассказывала, что до сих пор хорошо знает, и знают все окружающие соседи, где в родном горном селе проходят границы ее родовых участков: *“Никто ни одной груши не сорвет. Все знают, кому принадлежат эти деревья”*.

Проект осуществления всеобщей коллективизации в Чечено-Ингушетии оказался менее успешным по сравнению с “культурной революцией”. Против коллективизации сначала выступали местные казачьи общины, но казаков как “контрреволюционный элемент”



Чечня, группа животноводов с Итум-Кале на пастбище. 1970 г. Фото Б.А. Калоев

большевики подвергли жестоким репрессиям и значительную часть их выселили с Северного Кавказа, в том числе и с территории Чечено-Ингушетии, еще в 1920-е годы. Одновременно коллективизация вызвала не только протест, но даже открытые выступления со стороны чеченцев. В конечном итоге созданные колхозы и совхозы существовали здесь как навязанная структура, в рамках которой или за ее пределами чеченцы находили много вариантов жизнеобеспечения. И все же на первое января 1937 г. в республике было (или числилось) 480 колхозов, в которые входило 84% всех крестьянских хозяйств. Колхозы располагали 300 тыс. га земли и собирали богатые урожаи кукурузы и неплохие урожаи других культур. поголовье скота в колхозах республики в 1939 г. составило 121 тыс. голов²⁷.

Но по другим сведениям, колхозов было меньше и уровень коллективизации пастбищ и скота был ниже. К моменту депортации в 1944 г. в ЧИАССР насчитывалось 146 сел (не считая мелких населенных пунктов, особенно горных аулов), 137 колхозов, 14 совхозов, 24 МТС, 439 промышленных предприятия. В сельской экономике преобладало единоличное хозяйство (кстати, это положение сохранилось и в последепортационный период). Например, в Итумкалинском районе в 1943 г. крупного рогатого скота было 15 тыс. голов, из них в колхозах 800 голов (13%), в Шатойском – 7600, из них в колхозах 332 (4%), в Итумкалинском – 28 тыс. голов овец, из них в колхозах 1800 (6%), в Галанчойском – всего 13 700 овец, из них в колхозах 2637 (19%)²⁸. Видимо, речь в данном случае следует вести о большом различии в характере аграрной экономики между равнинной и горной частями республики.

Что касается промышленности, то ее основу еще с дореволюционных времен составляла добыча нефти (второе место в России после бакинских промыслов). Нефтепромыслами владел частный капитал, как зарубежный, так и российский, включая и нескольких крупных чеченских промышленников (Тапа Чермоев). После революции и гражданской войны грозненская нефтепромышленность была восстановлена очень быстро, а с 1924 г. началась реконструкция и строительство новых заводов. К 1940 г. Чечено-Ингушетия уже не просто добывала, но и перерабатывала нефть. В период советской индустриализации в Чечне были созданы новые отрасли: машиностроение, электроэнергетическая, газовая, химическая, лесная и деревообрабатывающая. В республике с ее многочисленным коренным населением стала быстро развиваться легкая промышленность, где активно использовался местный женский труд: обувная, швейная, консервная.

Предвоенная Чечено-Ингушетия жила по правилам, которые можно назвать своеобразным симбиозом советских норм и законов с народными правовыми нормами *адата* при сохранении некоторых исламских традиций и ценностей. Подавляющее большинство простых людей не вступали в ряды большевиков и не были открытыми врагами ре-

жима. Они пробивались по жизни точно так же, как это делают люди в любом другом обществе. С началом в 1941 г. войны с гитлеровской Германией 29 тыс. чеченцев ушли на фронт защищать свою страну – Советский Союз. Хотя некоторые чеченские авторы теперь и берут слово “свою” в кавычки²⁹, тогдашнее поколение чеченцев было настроено патриотично и воспринимало СССР как родину.

Вот одна из драматических историй того времени. Она была изложена в письме на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилова жителем Магадана В.А. Алиевым уже после войны. Автор письма “отбыл свой срок, досрочно освобо-дился”.

«Я родился в селе Чечен-аул Атагинского района бывшей Чечено-Ингушской АССР в 1924 г. Мой отец Алиев Аметхаджи – рабочий-сапожник, активный участник гражданской войны, получил увечье и инвалидность в боях (100-дневные бои в гор. Грозном) с белоказаками. Мать – крестьянка, домашняя хозяйка. Оба они были неграмотными. С первого класса я обучался в русской школе. Благодаря Коммунистической партии СС я получил образование, сын неграмотных родителей – я учился в институте; будучи чеченцем по национальности – самой отсталой национальности – благодаря Советскому правительству я получил вместе с образованием и широкий кругозор. Я начал свою сознательную жизнь октябреном, а перед арестом в 1944 г. был кандидатом в члены ВКП(б).

Меня воспитала пионерская организация, комсомол и партия. Я работал председателем Совета пионерской дружины, секретарем первичной комсомольской организации и с сентября по 25 декабря 1942 г., до ухода добровольцем в ряды РККА, секретарем Атагинского РК ВЛКСМ по пропаганде и агитации.

В 1943 г. на плацдарме у р. Днепр под г. Канев я был принят в кандидаты ВКП(б), как отличившийся в боях. За эти же бои я два раза был представлен к правительственным наградам: ордену Отечественной войны и ордену Красной Звезды. В мае месяце 1944 г. после тяжелой болезни в госпитале гор. Тула врачебной комиссией я был признан ограниченно годным 2 степени с переводом в глубокий тыл, но я знал, что Родине нужен каждый человек на передовой, и остался в строю. Ведь в армию я уходил добровольцем, о нашей инициативной группе по набору добровольцев-активистов в ряды РККА широко писала чечено-ингушская республиканская пресса (газета “Ленинский путь” за вторую половину декабря месяца 1942 г.)...»

Далее следует жуткий рассказ об аресте, ложных признаниях вины под угрозой расстрела и осуждение... Но что в этой истории явно не укладывается в доминирующий стереотип о чеченцах, так это отсутствие тех самых черт тотального диссидентства, отказа служить кому-либо, а тем более советской власти. Не только начавшаяся языковая ассимиляция, но и глубокая советизация, включая советский патриотизм и лояльность власти, были характерны для большинства чеченцев и ингушей. Возможно, не все шли добровольцами, но отказывались служить в армии или дезертировали единицы.

Такова была общая картина по всей стране с некоторыми отличиями только в аннексированных в 1940 г. регионах – западная Украина и Белоруссия, Прибалтика и, возможно, Крым. Из данных довоенного времени образ чеченского “гордого дикаря” или “вечного бунтаря” никак не складывается, и этот патерналистски-шовинистический (по сути, неоколониальный) стереотип должен быть отвергнут. Тем более такой образ не подходит для чеченцев второй половины XX в.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ССЫЛКИ

Восприятие чеченцами сталинской депортации отчетливо распадается на два периода: до либерализации конца 1980-х годов и после нее. В советское время наиболее характерным было замалчивание депортации. Люди старались не говорить об этом, ибо как бы существовала некая коллективная вина, пусть даже и несправедливо наложенная на народ, и за нее ему приходится расплачиваться. Степень замалчивания у тех или иных народов была разной. Среди калмыков, например, существовал почти всеобщий “заговор молчания”, особенно взрослых по отношению к молодым. Эльза Гучинова рассказала мне, что в детстве и ранней молодости вообще ничего не слышала о депортации калмыков в Сибирь ни от своих родителей, ни от других людей.

Довольно важные моменты обнаружены мною в чеченских историях. Вот как объясняет восприятие депортации в своей семье Хета Абдуллаева:

«О депортации говорили мало и в каком-то отвлеченном виде: это было до “ардаар” (что на чеченском языке буквально “вывели из дома”). Когда мама что-нибудь рассказывала, то она часто говорила, вот когда нас “ардаале”, или когда нас “уза даьхкича” (буквально “вернули”). У меня в голове все никак не укладывалось: куда вывели и куда привели? Я очень долго всего этого не понимала. Это было неправильно и надо было все-таки рассказать.

Я помню, это было в классе пятом. У нас был урок истории, и учительница была русская. Я ее спросила: а что это такое? Она на меня посмотрела и спросила: а где ты это вычитала? Я говорю, что просто слышала. Прочитать об этом было невозможно.

Она сказала:

– Спроси об этом у отца.

Я стала спрашивать маму:

– Вот вы в Казахстане жили, почему вы там жили, вы не хотели дома жить?

Она говорит:

– Нам пришлось.

– Что значит “пришлось”? Вы сами туда уехали?

– Нет, – говорит, – нас просто попросили. Нам сказали, чтоб мы ушли. Только в классе восьмом до меня дошло, что нас выслали, всех выслали!»

Интересный момент обнаруживается в ментальности части чеченцев более старшего поколения, особенно среди тех, кто занимал элитные должности и(или) вполне лояльно относился к советскому строю (последних было подавляющее большинство в Чечено-Ингушетии). Период пребывания в ссылке в Казахстане назывался некоторыми как период пребывания “на целине”, т.е. чеченцы как бы причисляли себя к участникам одной из наиболее громких пропагандистских и народнохозяйственных эпопей советского времени. Вот как высказался Хажбикар Боков, когда описывал одну из страниц своей прошлой жизни:

«Я прошел школу целины, где не было, чтобы руки по швам. Каждый имел свое мнение. Там же прошел и комсомольскую школу. Это была настоящая школа патриотического труда и бескорыстия ради Родины. Меня там уважал первый секретарь обкома Прокопий Иванович Черняк. Классический тип партработника. Одевался просто, ходил в телогрейке и в сапогах. Это было в Железненском районе Павлодарской области. Черняк пытался сделать меня первым секретарем райкома: у меня, говорил, нет лучше комсомольского работника. Он пытался это сделать через обком, мне не говоря ничего.

Я действительно вырос в труде. В 8 лет вывезли, был пахарем, сеяльщиком, пастухом, завклубом. Вырос можно сказать в борозде. Он мне говорил: “Подожди, я pošлю тебя в высшую партию”. Зачем был нужен закон о реабилитации репрессированных народов, когда это уже было в прошлом?»

За последние десять лет история депортации чеченцев и ингушей стала предметом большого числа драматических описаний, документальных публикаций и литературно-поэтических интерпретаций. Упрощенная и политкорректная версия однозначна: депортация была “народоубийством”, самым страшным преступлением сталинизма, который исковеркал жизнь нескольких поколений и судьбу чеченского народа в целом. Именно такую ссылку я слышал неоднократно в высказываниях почти каждого чеченца – члена делегации, с которой были переговоры во Владикавказе 11–13 декабря 1994 г., а также когда началась чеченская война. Какой бы вопрос ни обсуждался, все чеченцы напоминали членам делегации из Москвы о том, что их народ был подвергнут всеобщей депортации³⁰. Детство большинства их ровесников прошло в Казахстане или в Киргизии, но молодые годы они провели в крупных российских городах, где обучались в советских вузах (Московский университет, Юридический институт в Свердловске, Танковое училище в Туле и другие). “Свердловск – это лучшее время в моей жизни и этот город я никогда не забуду”, – сказал мне во Владикавказе заместитель министра юстиции прокурора Чеченской республики Абу Алиев.

Безусловно, сам акт депортации чеченцев и ингушей, как и других народов, был чудовищным насилием и огромной травмой, память о которой стала одним из главных моментов чеченской версии

прошлого. Однако в литературных и исторических текстах, а также в политической и повседневной риторике преобладают рассказы о самом акте выселения и о тяжелом переезде в забитых людьми вагонах для скота, когда многие погибли от холода, голода, болезней и от рук охранников. Этнография жизни в ссылке почти не рассматривается, кроме упоминаний спецкомендатуры, ограничений на передвижение, жестоких наказаний каторгой за отлучки с местожительства.

Д.Д. Гакаев в своей обстоятельной книге, посвященной политической истории Чечни в XX в., так описывает этот период:

“После прибытия к местам ссылки началось колхозно-совхозное распределение депортированных. Непосредственной властью над народом была спецкомендатура во главе с комендантом – офицером НКВД. Комендант был полноправным хозяином жизни сотен тысяч бесправных и незащищенных людей. Всюду в местах расселения депортантов было объявлено, что спецпереселенцы обязаны беспрекословно выполнять распоряжения властей, соблюдать режим, регламентирующий их жизнь. Все работоспособное население использовалось в качестве рабсилы за вознаграждение в виде продовольственной карточки. Категорически запрещалось всякое передвижение или уход на расстояние более трех километров от места проживания. Два раза в месяц спецпереселенец должен был отмечаться в комендатуре, подтверждая, что он на месте. За нарушение правил и режима проживания необратимо следовало наказание – каторга сроком на 20 лет без суда и следствия. По существу спецпереселенцы были лишены гражданских прав и находились вне закона. Голод, мор, жесточайшие репрессии поставили чеченцев и ингушей на грань гибели”³¹.

Вопрос о воздействии периода депортации на чеченцев и на их культуру в литературе неизбежно рассматривается в эмоционально-политизированном тоне: исключительно с точки зрения морально-правовой несправедливости совершенного акта выселения целого народа и с точки зрения физических лишений и утрат, в том числе демографических³². Эти утраты действительно были велики, даже по умеренным оценкам чеченцы и ингуши в период депортации потеряли более одной трети своей численности³³. Однако история депортации имеет ряд аспектов, которые представляют особый интерес в контексте антропологического анализа.

Прежде всего доказательством моего тезиса о том, что чеченцы уже к периоду второй мировой войны представляли собою один из средне-модернизированных советских народов с развитой материальной и духовной культурой, является то, что в Средней Азии и Казахстане они, вместе с другими депортированными народами, зачастую выполняли своего рода цивилизаторскую миссию по отношению к аборигенному населению, особенно к местным казахам и киргизам, проживавшим в степной сельской местности. Отец Джабраила Джокала рассказывал сыну, что когда чеченцы прибыли в Среднюю Азию, то обнаружили, что многие там еще живут в земляных

жилищах или ведут полукочевой образ жизни. Чеченцы научили казахов и киргизов строить дома, печь хлеб в каменных печах, выращивать овощи и еще многим полезным вещам, о которых местное население до этого не знало. Как говорил Джокала, “даже с лошадьми и со скотом пришлось учиться обращаться, хотя, казалось бы, местные были в прошлом кочевниками”.

Многочисленные истории чеченской депортации концентрируются также на лишениях и унижениях, которые пришлось пережить чеченцам и другим депортированным в ссылке³⁴. Однако меня интересовал еще ряд других важных сюжетов. Во-первых, какова была стратегия выживания депортированных и этнография их повседневности на протяжении 13 лет пребывания за пределами Чечни? Во-вторых, в какой мере депортация способствовала не только сохранению, но и консолидации чеченской идентичности, т.е. как депортация через негативное предписание быть *спецпоселенцем* послужила сохранению чеченской отличительности. Наконец, в результате чего у чеченцев появилось устойчивое желание осуществлять двойное отрицание, при котором негативно оценивается не только сам факт депортации, но и значительная часть прожитой собственной жизни.

Как мы уже отмечали, наиболее страшные воспоминания относятся к моменту выселения и к первым годам жизни в депортации. Приведем несколько историй, причем, почти все они – это рассказы старших, о которых помнит нынешнее поколение. В них депортация перемешивается с более ранними репрессиями 1920–1930-х годов, от которых пострадало много чеченцев и ингушей вместе с другими жителями края, особенно казахским населением.

«Я, Жовзан (по-русски меня чаще зовут Жанна) родилась в Киргизии, в селе Новопавловка (рядом с Фрунзе) в 1954 г. Отец – Саид, мама – Куку, бабушка по отцу – Аманат, брат младший – Умар и старшая сестра – Зулаи (Зоя). В мае 1957 г. уехали всей семьей в Чечню и поселились в ...(?). Мама – из известного “прогрессивного” рода Сайхановых (ее деда, именем которого названа улица в Грозном, убили белогвардейцы в гражданскую войну). Ее отец, мой дед ... был репрессирован. В момент выселения ее 8-летнюю мама (моя бабушка Маришан) послала в деревню посмотреть обмолотили или нет муку. Поэтому увезли бабушку с двумя другими детьми без нее (в Киргизию), а Куку забрали с собою другие односельчане, которых отправили в Казахстан.

Куку жила в чеченской семье, где было много детей, и было очень трудно всех прокормить. Ее даже хотела удочерить одна местная русская семья, но чеченская семья, в которой жила мама, этого не хотела и была готова даже отдать ее в детдом. А бабушка Маришан стала ее разыскивать и всех спрашивать. Она говорила по-русски, так как жила в крепости Ведено вместе с военными (там работал ее отец до того, как его убили).

Бабушка искала мою маму в Казахстане и Киргизии. Она рассказывала, что киргизы прикрывали от нее ладонью текст, так как думали, что она грамотная. Когда она нашла маму (ей уже было тогда лет 13–14), то

она ее остригла под мальчика, чтобы спокойнее было перевозить по дорогам к месту поселения.

...Когда мы вернулись, в нашем доме жили аварцы. Мы несколько лет жили вместе, так как аварцы сразу не смогли уехать (им было тоже некуда ехать). Потом они еще долго навещали нас в этой деревне, потому что там были похоронены их родственники (рядом с нашим родовым кладбищем рода Энгиной). У бабушки была швейная машинка “Зингер”, она обнаружила ее у аварцев и выкупила назад. Наш дом был небольшой, жили порознь, но ссор не было. Говорили с ними по-русски, а между собою на чеченском. Потом уже мой отец построил отдельный дом» (Жовзан Зайналадиева).

Особенно трудными были первые годы жизни в Средней Азии. Многие семьи оказались разорванными, их соединению помогал хабар – чеченский “устный телеграф”, который работал безупречно, пересекая все кордоны.

«Были специальные люди, которые ходили по всему Казахстану и Киргизии, от одного села к другому, чтобы собирать и сообщать сведения, кто где живет и кто кого разыскивает. Таких людей было много. Это были какие-то добровольцы, которых просто кормили в пути и давали переночевать. А делать это, между прочим, было довольно опасно. Депортированным нельзя было выезжать за пределы своих поселений. Если что, могли арестовать и дать тюремный срок. Люди очень боялись даже сходить в соседнее село в гости, чтобы случайно из-за погоды или по какой другой причине не задержаться. И вот можно себе представить, что через несколько лет чеченцы и ингуши почти все нашли друг друга, узнали, кто жив и кто умер, стали писать письма друг другу, передавать разную информацию, помогать друг другу.

А первые годы были очень тяжелыми из-за отсутствия жилья (многих прямо в степь высадили) и голода (местные казахи и те голодали). У моего отца на попечении оказалось около 40 человек: своих собственных детей и разных близких родственников. Он был очень сильным и смелым мужчиной. Его авторитет был огромным. Джокалу знали все в горной Чечне, и в Средней Азии к нему люди тоже потянулись под защиту. Положение было таким, что приходилось воровать у местных скот, в основном совхозных овец.

Он как-то рассказал, что казахи верхом на лошадях однажды его догнали с овцами. А он достал огромный нож, очертил им линию и сказал: “Не подходите! У меня голодные сироты, и я буду биться на смерть”. Они постояли, лошадей повернули и ускакали от него. Испугались или поняли, что человек в отчаянии. Так отец никому не дал умереть с голоду» (Джабраил Гакаев).

Шамсуддин Умаров помнит свои детские впечатления о том, что в казахском селе, где они жили, чеченцы часто собирались по вечерам у кого-нибудь в доме.

“Первые годы и электричества не было, и жгли лучину или свечку. Собирались поиграть на балалайке и пели. Был смех и были шутки. Почти в полной темноте. Поест почти ничего не было, поджаривали картошку на печке. Помню, что только в году 1948 мама смогла повесить

какую-то тряпочку на окна. Так появились первые занавески как признак лучшей жизни”.

Пребывание в Казахстане и в Киргизии было временем не только разрушения семейно-родственных связей, но сильной аккультурации чеченцев, особенно в пользу русского языка. Некоторые представители старшего поколения, как, например, Джокала Гакаев научился говорить по-русски только в Казахстане.

“Когда отец трудоустроился, а потом стал и бригадиром, то сразу же стал охранять тех же самых совхозных овец. Он потом всю свою оставшуюся жизнь замаливал на коврике этот 1944 год, когда пришлось нару раз пойти на воровство. Некоторые нынешние старики так и не покажались” (Джабраил Гакаев).

Это была ситуация вынужденных, но очень активных межэтнических взаимодействий и контактов. Районы, куда были сосланы депортированные, представляли собой настоящие этнические конгломераты. Хажбикар Боков так своеобразно осмыслил судьбу чеченцев в период депортации:

«Я русский язык выучил вместе с материнским языком. Дома мать с отцом говорили по-ингушски. В школе в Казахстане все по-русски. В нашем селе было четыре класса. Поэтому пятый, шестой и седьмой классы я учился в другом селе. Километров семь от нашего села. Русские, украинцы и немного спецпоселенцев и казахов. Это был прием для разложения нации, но, видимо, чеченская нация была только в процессе своего сложения и в этой стадии нацию разрушить нельзя. Сотни километров шли по селам чеченцы и ингуши и составляли списки. Это величайшая сила национального единства в начальный период. А когда эта нация проходит его, исполнив свою историческую функцию, она потом уже готова раствориться. Нация – это промежуточная стадия. Мечта общества – это единство. Если движение идет по спирали, то общество было изначально без наций и к этому снова должно прийти. Я преподаю сейчас в одном институте предмет национальные отношения и говорю студентам, что поставлю пятерку тому, кто скажет какой национальности были Адам и Ева. Один парнишка сдает мне экзамен и тоже в шутку говорит: “они были евреями”».

Почти все взрослые чеченцы, и даже женщины, нашли себе разную работу, их труд способствовал развитию сельского хозяйства, особенно овощеводства и животноводства. Люди, пережившие депортацию, вспоминают, что на рынках Казахстана, до тех пор скудных с точки зрения ассортимента, появились в изобилии овощи, фрукты, мясо-молочные продукты³⁵. В целом чеченцы успешно трудились и в городах на предприятиях, особенно в легкой промышленности, в различных артелях. История этой жизни фактически не написана. Мы имеем несколько фотографий из семейных альбомов чеченцев времени депортации, которые дают дополнительное представление о них, но отнюдь не такое, которое зафиксировано литературной метафорой писателя Солженицына: “Из всех спецпересе-



Коллектив швейной фабрики в Павлодаре, 1951 г.

ленцев единственные чеченцы проявили себя зэками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили...”³⁶.

На фотографиях того времени мы видим хорошо одетых мужчин в типичной послевоенной одежде: обязательно в хромовых сапогах и френчах шерстяного сукна. Одна из фотографий изображает группу работниц пошивочного ателье, на котором трудилась мама аспирантки Института этнологии и антропологии РАН Зинаиды Дзариевой. На этой фотографии, помеченной 20 марта 1951 г., в основном женщины (только двое мужчин!) самых разных национальностей. Только одна из них покрыла голову шалью и именно эта женщина – мама Зинаиды, ингушка, ныне проживающая в Назрани.

Некоторые традиционные нормы поведения, в том числе и религиозные обряды, чеченцы продолжали соблюдать и в депортации, как это делали и местные жители – казахи и киргизы, а также другие “спецпоселенцы”. В семьях и между собой говорили на чеченском языке. Однако в “публичном мире” царили советские нормы фактически принудительного труда и жесткой трудовой дисциплины, коммунистической идеологии и воинствующего атеизма.

В этих условиях чеченцы упорнейшим трудом обеспечивали свое существование, и солженицынский образ непокорных и гордых, открыто враждебных, не соблюдавших законов людей, которые принесли в дремавший Казахстан понятия “украли” и “обчистили”, расходится с реальностью. Как ни покажется странным, но в датированной сентябре 1957 г. докладной начальника 4-го спецотдела МВД СССР некоего полковника В. Новикова на имя министра внутренних дел СССР Н.П. Дудурова, возможно, содержится не меньше исторической правды, чем в последующих интерпретациях: “Подавляющее большинство спецпереселенцев к труду относятся добросовестно, систематически выполняют и перевыполняют производственные задания, за что многие из них награждены почетными грамотами, занесены на заводские и районные Доски Почета, награждены ценными подарками, а часть из них – правительственными наградами. Спецпоселенцы, работники колхозов и совхозов, стремятся проявить себя в проводимых сельскохозяйственных кампаниях по выращиванию и уборке урожая, увеличению производства сельхозпродукции и развитию животноводства”³⁷.

Казенный советский канцелярит! Но за ним повседневность, которую хорошо помнит старшее поколение россиян. В моей личной памяти сохранилась радость отца – школьного учителя в маленьком уральском городке, когда он принес в дом почетную грамоту. Как и чеченцам, ему в послевоенные годы приходилось регулярно являться в местную милицию для отметки, поскольку он был освобожден в 1945 г. из немецкого плена американцами и это была ситуация, при которой почти всем грозил новый лагерь.